

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Владимир Солоухин

**КАМЕШКИ
НА ЛАДОНИ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Владимир Солоухин

Камешки на ладони (сборник)

Издательство «Детская литература»

Солоухин В. А.

Камешки на ладони (сборник) / В. А. Солоухин — Издательство «Детская литература», — (Школьная библиотека (Детская литература))

В книгу известного писателя входят рассказы, написанные в разные годы, такие, как «Каравай заварного хлеба», «Белая трава», «Ножичек с костяной ручкой» и др. В их основе – человек, его мир, его дела. Цикл «Камешки на ладони» содержит лирические миниатюры, рассказы обо всем, что автор подмечает в повседневной жизни.

Содержание

Он шел по родной земле	6
Каравай заварного хлеба	11
Мошенники	20
Ножичек с костяной ручкой	26
Мститель	29
Подворотня	33
Белая трава	35
Летний паводок	38
Закон набата	41
Конец ознакомительного фрагмента.	44



В. Солоухин

1924—1997

Владимир Алексеевич Солоухин

Камешки на ладони

© Издательство «Детская литература». Оформление, составление, 2002

© В. Солоухин. Текст, наследники

© Е. Мешков. Рисунки, 2002

© С. Шуртаков. Предисловие, 2002

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Он шел по родной земле

Книга, которую ты, юный читатель, держишь в руках, написана замечательным русским писателем Владимиром Солоухиным. Известно ли тебе это имя? Лет десять или пятнадцать назад такой вопрос был бы неуместен: книги В. Солоухина издавались постоянно и огромными тиражами. Нынче же русская и особенно советская классика издается мало. Недавно отмечалось 200-летие великого Пушкина, однако даже его обещанного юбилейного Собрания сочинений мы так и не увидели...

Вот и приходится писать предисловие, чтобы объяснить сегодняшнему читателю, кто такой Владимир Солоухин и что им написано.

...В моей домашней библиотеке имеется более десятка книг этого литератора, не считая четырехтомного Собрания сочинений. И авторские подписи на многих из них начинаются словами: «Дорогому другу...» или «Моему давнему другу...».

«Подружил» нас еще в первые послевоенные годы Литературный институт: пять лет мы и сидели за одной партой, и койки наши в институтском общежитии стояли рядом. В одной тумбочке держался и хлеб, который тогда еще был по карточкам. Так что рождение В. Солоухина как писателя, его литературный путь от первых стихотворений до книги «Дождь в степи», которая была его дипломной работой, – все это происходило, можно сказать, на моих глазах. Многие стихи еще до того, как они появлялись в печати, я уже знал или в рукописи, или слышал в авторском исполнении.

Наша дружба не прервалась и по окончании института. Я не раз и не два не только бывал, но и жил по летам в родном селе Солоухина Алепине, что на Владимирщине.

В сельском уединении, на лоне еще с детства близкой нашему сердцу русской природы, мы вели долгие беседы, делились своим творческими задумками. Нам было о чем поговорить!

Еще с институтских времен у нас «прорезался», а затем и утвердился интерес к великому прошлому нашей Родины. И мы любили в своих разговорах возвращаться к событиям отечественной истории, начиная с Киевской Руси, со «Слова о законе и благодати» Киевского митрополита Иллариона и «Слова о полку Игореве»...

Вспоминаю я об этом неспроста. Так или иначе, в той или иной форме, но это потом находило отражение в наших книгах.

Нынче много говорится и пишется о так называемом национальном сознании. Говоря проще, многие умные люди считают, что ничего плохого не будет, если, скажем, русские осознают, почувствуют себя не абстрактными общечеловеками, а именно – русскими, белорусы – белорусами, армяне – армянами. Пусть каждый народ знает свою историю и гордится тем вкладом, который его отчичи и дедичи внесли в общечеловеческую культуру.

И вот для того чтобы мы знали и помнили свою историю и гордились своей принадлежностью к великой нации, В. Солоухиным было сделано очень многое. Им написаны книги: «Черные доски» – о гениальных иконописцах Руси; «Письма из Русского музея» – о великих русских художниках; «Время собирать камни» – о возрождении порушенных очагов культуры на русской земле.

Сегодня восстановлен, возрожден храм Христа Спасителя. Тысячи людей помогли его восстановлению. Но первыми о возрождении храма заговорили русские писатели. И первым из первых в этом деянии был не кто иной, как Владимир Солоухин. Мы печатали свои повести и рассказы и в конце публикаций подписывались: «Прошу гонорар перечислить на возрождение храма Христа Спасителя». А при образовании общественного комитета по возрождению храма Владимир Алексеевич был единогласно избран его президентом.

Русская Церковь высоко оценила его деятельность на этом посту. В 1997 году, по кончине писателя, сам Патриарх отпевал его в еще не достроенном храме. Писатель завещал похоронить

его на родной алепинской земле, что и было исполнено. С тех пор каждое лето, в день рождения В. Солоухина, в Алепине отмечаются дни его памяти.

Вот лишь некоторые, но очень яркие биографические данные об авторе этой книги. Вернемся же к тому, как начинал свое вхождение в литературу совсем еще молодой паренек из села Алепина.

Первый сборник стихов «Дождь в степи» – дипломная работа студента Литературного института. В последующие годы одна за другой вышли еще несколько стихотворных книжечек – «Колодец», «Ручьи на асфальте», «Разрыв-трава». И если кому-то из вас попадут в руки эти книжечки, прошу обратить внимание на то, что и самая первая из них, и некоторые последующие открываются стихотворением «Колодец». Что это: авторский недосмотр? Случайность? Нет, конечно. Давайте перечитаем заключительные строки «Колодца»:

...И понял я, что верен он,
Великий жизненный закон:
Кто доброй влагою налит,
Тот жив, пока народ поит.
И если светел твой родник,
Пусть он не так уж и велик,
Ты у истоков родника
Не вешай от людей замка,
Душевной влаги не таи,
Но глубже черпай и пои!

Да это же не что иное, как программа действий на избранном поприще! Программа, которой В. Солоухин следовал всю свою жизнь. Он неустанно черпал из своего светлого поэтического родника и щедро поил душевной влагой миллионы читателей.

Однако, может спросить читатель, почему все о поэзии да о поэзии – книга-то прозаическая?

Наверное, потому, что начинать принято не с конца, а с начала, а в начале были стихи... Да и в Союзе писателей он тоже «числился» по творческому объединению поэтов. Хотя если говорить о широкой литературной известности, то, как это ни странно может показаться, она-то пришла к нему как раз через... прозу.

Выпустив книгу с экзотическим названием «За синь-морями» о поездке в одну адриатическую страну, В. Солоухин отправился в путешествие по родной владимирской земле – пешочком, с рюкзаком за плечами и суковатой палкой в руке. И о том, что ему удалось узнать, увидеть и услышать во время этого довольно длительного путешествия, написал повесть, назвав ее «Владимирские проселки». Вот этими «Проселками» он и стал известен не только во Владимире и Москве, но и в Сибири, и на Курильских островах.

«Проселки» увидели свет в толстом литературном журнале, тираж которого исчислялся сотнями тысяч экземпляров, и вскоре были повторены двухмиллионной «Роман-газетой». Автор получил тысячи – ну-ка попробуйте представить: не сто, не двести, а тысячи! – читательских писем.

Лирические повести «Владимирские проселки» и продолжившая их «Капля росы» положили начало широкой, всенародной известности В. Солоухина.

Переход от стихов к прозе – дело не такое уж и редкое. Но, строго говоря, В. Солоухин никуда «не переходил». Продолжал он писать стихи и после «Владимирских проселков», продолжали выходить и его новые книги прозы. Вряд ли надо усматривать в этом какое-либо творческое раздвоение. Просто с годами накапливался жизненный материал, который мог

лечь только в повесть или рассказ, а отнюдь не в стихотворение. Ни упоминавшиеся «Черные доски», ни «Письма из Русского музея» написать стихами тоже невозможно.

Говоря о творческом пути В. Солоухина, особо подчеркнем то, что он как родился поэтом, так и оставался им всю жизнь. Поэтом являл он себя и в прозе. Яркая образность языковой фактуры, завидное богатство ассоциаций и удивительная, неповторимая, чисто солоухинская естественность повествования даже самую серьезную прозу делают поэзией, и едва ли не каждый «камешек на ладони» становится законченным стихотворением в прозе.

И еще одна очень важная черта творчества В. Солоухина – это патриотизм: любовь к своей земле и ее людям. Патриотическое сознание формировалось веками, и не раз об этом с гордостью говорили славные сыны России. Замечательному полководцу Александру Суворову принадлежит, может быть, самое краткое и самое выразительное речение: «Я – русский. Какой восторг!» Пушкин в известном письме П. Чаадаеву писал: «...Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, как нам Бог ее дал».

Многие выдающиеся люди России отмечали талантливость русского народа. Вот и В. Солоухин в своих «Черных досках» и «Письмах из Русского музея», изданных тридцать лет назад, говорит о том же – о неиссякаемой талантливости своих соотечественников, о величии русской художественной культуры.

Эти книги не романы, не повести – это документальные очерки, раздумья писателя о зодчестве, живописи, ваянии – то есть то, что обычно называется публицистикой. Но какая это страстная и в художественном отношении прекрасная публицистика! Попробуйте открыть любую из этих книг и начните читать, уверяю вас: уже не оторветесь. Вы сразу услышите голос доброго и умного собеседника, человека, много знающего и великолепным русским языком рассказывающего о том, что вам вроде бы и знакомо, но, оказывается, знакомо лишь наполовину, а может быть, и того меньше...

«Черные доски» – это старые, написанные триста – четыреста и более лет назад иконы. При написании они покрывались олифой, а она имеет свойство темнеть. По этой причине иконы время от времени подновлялись – на старый, почерневший слой наносился новый. Рублевская «Троица» была покрыта несколькими записями. И вот когда реставратор слой за слоем снимал те записи и доходил до первоначальной – «черная доска» словно бы вспыхивала, краски ее – яркая киноварь, золотистая охра или небесная лазурь – начинали сиять.

Вот так В. Солоухин и книгу свою сумел написать, что его «черные доски» словно бы излучают на читателя горный свет, духовное сияние.

А что за «Письма из Русского музея»? Вполне возможно, что многим из вас еще не пришлось побывать в Русском музее в Санкт-Петербурге – для тех книга будет открытием этого великолепного собрания национальной живописи. Но и для того, кому посчастливилось пройти по залам Михайловского дворца, чтение «Писем» будет пусть и вторым, но опять же открытием. Потому что, вчитываясь в размышления автора о картинах и художниках, их создавших, вы и не заметите, как сами станете вместе с ним тоже размышлять, вникать в глубокий смысл шедевров русской живописи.

По названию третьей в этом же ряду книги «Время собирать камни» уже можно догадаться, о чем она. Да, в послереволюционные годы мы пораскидали немало не имеющих цены «камней» нашей культуры: сколько было разрушено храмов, дворцов, «дворянских гнезд», связанных с именами известных писателей, художников, музыкантов.

В. Солоухин предпринял многочисленные поездки в эти порушенные «гнезда» – в державинскую Званку на Волхове, в аксаковские места в Оренбуржье, в Оптину пустынь, в блоковское Шахматово... И везде он видел печальные картины небрежения и запустения – разбросанные по лику России «камни».

И в новой книге набатным колоколом зазвучал призыв писателя: время собирать камни!

Призыв этот нашел отзвук в самых широких читательских кругах. Автор получил сотни писем. И самое главное – его слово отозвалось делами. Многое из разрушенного восстановлено или восстанавливается.

Воплотилась и еще одна его идея – возрождение главного храма России – собора Христа Спасителя, о чем мы уже говорили.

В последнее время часто цитируют заглавную строку Евангелия от Иоанна: «В начале было слово...» Многозначное, исполненное глубочайшего смысла речение!

Если же применить это к литературному творчеству, то Слово будет наиглавнейшим, наиважнейшим на всем жизненном пути писателя. Художник свои переживания, свои чувства и мысли передает посредством линии и цвета, композитор выражает себя и свое восприятие окружающего мира в музыке. Поэт, писатель может выразить обуревающие его мысли и чувства только в Слове. И, следовательно, первостепенное значение имеет для писателя тот словарный запас, то языковое богатство, каким он располагает, ступая на стезю творения стихов или рассказов, поэм или романов!

По словарному богатству русский язык не имеет себе равных. Но ведь кроме восхищения таким несметным богатством, надо еще уметь им распорядиться, надо знать родной язык во всей его полноте и эти знания использовать в своих сочинениях.

Говорю все это к тому, что среди современников мало таких писателей, которые бы могли равняться с В. Солоухиным и в глубинном знании русского языка, и в умении столь виртуозно владеть им.

Одного прославленного немецкого музыканта спросили: как это ему удается в игре на органе достигать такого необыкновенного совершенства? На что маэстро ответил: «Ничего особенного. Просто я в нужный момент нажимаю на нужную клавишу...»

Вот и В. Солоухин хорошо знал, в какой момент и на какую среди многих сотен, если не тысяч словесных «клавиш» нужно нажать. Потому его стихи и проза звучат то целым оркестром, то владимирским пастушьим рожком, то торжественным органом, то веселой рассыпчатой балалайкой...

Рядом с уже упоминавшимся «Колодцем», в котором еще совсем молодой, двадцатипятилетний, поэт сумел провидеть свое жизненное призвание, мне бы хотелось поставить и такие строки:

Я шел по родной земле,
Я шел по своей тропе...

В. Солоухин побывал во многих странах мира. Но где бы он ни бывал, о чем бы ни писал, он, в сущности, всю жизнь шел родной владимирской землей. Потому что язык, Слово, которым написаны его книги, он впервые услышал и запомнил на всю жизнь в родном Алепине. И благодаря именно своему самобытному и самоцветному солоухинскому Слову, он, пройдя «Владимирскими проселками», вышел на большую дорогу мировой известности.

Если же кому-то последние слова покажутся слишком громкими, я скажу: в далекой Австралии создано Общество любителей русской словесности имени Владимира Солоухина. По-моему, это звучит, и звучит хорошо. Особенно в наше безвременье, когда книжные прилавки завалены низкопробным чтивом, а русский язык вытесняется чужеземной тарбарщиной.

И в заключение, уважаемые читатели, позволю себе высказать доброе пожелание: если вы хотите познать, почувствовать величие и красоту русского языка, его проникновенную художественную силу и обаяние – читайте Владимира Солоухина!

Семен Шуртаков

Каравай заварного хлеба

По ночам мы жгли тумбочки. На чердаке нашего общежития был склад старых тумбочек. Не то чтобы они совсем никуда не годились, напротив, они были ничуть не хуже тех, что стояли возле наших коек, – такие же тяжелые, такие же голубые, с такими же фанерными полочками внутри. Просто они были лишние и лежали на чердаке. А мы сильно зябли в нашем общежитии. Толька Рябов даже оставил однажды включенной сорокасвечовую лампочку, желтенько светившуюся под потолком комнаты. Когда утром мы спросили, почему он ее не погасил, Толька ответил: «Для тепла...»

Обреченная тумбочка втаскивалась в комнату. Она наклонялась наискосок, и по верхнему углу наносился удар тяжелой чугунной клюшкой. Тумбочка разлеталась на куски, как если бы была стеклянная. Густокрашенные дощечки горели весело и жарко. Угли некоторое время сохраняли форму то ли квадратной стойки, то ли боковой доски, потом они рассыпались на золотую, огненную мелочь.

Из печи в комнату струилось тепло. Мы, хотя и сидели около топки, старались не занимать самой середины, чтобы тепло беспрепятственно струилось и расходилось во все стороны. Однако к утру все мы мерзли под своими одея лишками.

Конечно, может быть, мы не так дорожили бы каждой молекулой тепла, если бы наши харчишки были погуще. Но шла война, на которую мы, шестнадцатилетние и семнадцатилетние мальчишки, пока еще не попали. По студенческим хлебным карточкам нам давали четыреста граммов хлеба, который мы съедали за один раз. Наверное, мы еще росли, если нам так хотелось есть каждый час, каждую минуту и каждую секунду.

На базаре буханка хлеба стоила девяносто рублей – это примерно наша месячная стипендия. Молоко было двадцать рублей бутылка, а сливочное масло – шестьсот рублей килограмм. Да его и не было на базаре, сливочного масла, оно стояло только в воображении каждого человека как некое волшебное вещество, недостижимое, недоступное, возможное лишь в романтических книжках.

А между тем сливочное масло существовало в виде желтого плотного куса даже в нашей комнате. Да, да! И рядом с ним еще лежали там розовая глыба домашнего окорока, несколько белых сдобных пышек, варенные вкрутую яйца, литровая банка с густой сметаной и большой кусок запеченной в тесте баранины. Все это хранилось в тумбочке Мишки Елисеева, хотя на первый взгляд его тумбочка ничем не выделялась среди четырех остальных тумбочек: Генки Перова, Тольки Рябова, Володьки Пономарева и моей.

Отличие состояло только в том, что любую нашу тумбочку можно было открыть любому человеку, а на Мишкиной красовался замок, которому, по его размерам и тяжести, висеть бы на бревенчатом деревенском амбаре, а не на столь хрупком сооружении, как тумбочка: знали ведь мы, как ее надо наклонить и по какому месту ударить клюшкой, чтобы она сокрушилась и рухнула, рассыпавшись на дощечки.

Но ударить по ней было нельзя, потому что она была Мишкина и на ней висел замок. Неприкосновенность любого не тобой повешенного замка вырабатывалась у человека веками и была священна для человека во все времена, исключая социальные катаклизмы в виде слепых ли стихийных бунтов, закономерных ли революций.

Отец Мишки работал на каком-то складе неподалеку от города. Каждое воскресенье он приходил к сыну и приносил свежую обильную еду. Красная, круглая харя Мишки с маленькими голубыми глазками, запрятанными глубоко в красноте, лоснилась и цвела, в то время как, например, Генка Перов был весь синенький и прозрачный, и даже я, наиболее рослый и крепкий подросток, однажды, резко поднявшись с койки, упал от головокружения.

Свои припасы Мишка старался истреблять тайком, так, чтобы не дразнить нас. Во всяком случае, мы редко видели, как он ест. Однажды ночью, проснувшись, я увидел Мишку сидящим на койке. Он намазал маслом хлеб, положил сверху ломоть ветчины и стал жрать. Я не удержался и заворочался на койке.

Может быть, втайне я надеялся, что Мишка даст и мне. Тяжкий вздох вырвался у меня помимо воли. Мишка вдруг резко оглянулся, потом, напустив спокойствие, ответил на мой вздох следующей фразой:

– Ну ничего, не горюй, как-нибудь переживем.

Рот его в это время был полон жеваным хлебом, перемешанным с желтым маслом и розовой ветчиной.

В другую ночь я слышал, как Мишка чавкает, забравшись с головой под одеяло. Ничто утром не напоминало о ночных Мишкиных обжорствах. На тумбочке поблескивал тяжелый железный замок.

К празднику Конституции присоединилось воскресенье, и получилось два выходных дня. Тут-то я и объявил своим ребятам, что пойду к себе в деревню и что уж не знаю, удастся ли мне принести ветчины или сметаны, но черный хлеб гарантирую. Ребята попытались отговорить меня: далеко, сорок пять километров, транспорт (время военное) никакой не ходит, на улице стужа и как бы не случилось метели. Но мысль оказаться дома уже сегодня так овладела мной, что я после лекций, не заходя в общежитие, отправился в путь.

Это был тот возраст, когда я больше всего любил ходить встречь ветра. И если уж нет возможности держать против ветра все лицо, подставишь ему щеку, вроде бы разрезаешь его плечом, и идешь, и идешь... И думаешь о том, какой ты сильный, стойкий; и кажется, что обязательно видит, как ты идешь, твоя однокурсница, легкомысленная, в сущности, девочка Оксана, однако по взгляду которой ты привык мерить все свои поступки.



Пока я шел по шоссе, автомобили догоняли меня. Но все они везли в сторону Москвы либо солдат, либо ящики (наверное, с оружием) и на мою поднятую руку не обращали никакого внимания. Морозная снежная пыль, увлекаемая скоростью, перемешивалась с выхлопными газами, завихрялась сзади автомобиля, а потом все успокаивалось, только тоненькие струйки серой поземки бежали мне навстречу по пустынному темному шоссе.

Когда настала пора сворачивать с шоссе на обыкновенную дорогу, начало темнеть. Сперва я видел, как поземка перебегает дорогу поперек, как возле каждого комочка снега или лошадиного помета образуется небольшой барханчик, а каждую ямку – человеческий ли, лошадиный ли след – давно с краями засыпало мелким, как сахарная пудра, поземным снежком.

Назад страшно и оглянуться – такая низкая и тяжелая чернота зимнего неба нависла над всей землей. Впереди, куда вела дорога, было немного посветлее, потому что и за плотными тучами все еще брезжили последние отблески безрадостного декабрьского дня.

По жесткому шоссе идти было легче, чем по этой дороге: снег проминался под ногой, отъезжал назад, шаг мельчился, сил тратилось гораздо больше.

Меня догнал человек – высокий усатый мужик, одетый поверх пальто в брезентовый плащ и закутанный башлыком. Этого небось не продувает. Случайный попутчик шагал быстро, и я старался тянуться за ним, хотя и знал, что для моей «марафонской» дистанции такой темп не годится, что я обессилею раньше, чем доберусь до села.

Ему-то что! Он идет лишь до Бабаева. Скоро он будет дома, а мне идти еще двадцать километров.

Дома самовар поставит ему жена, чайку горяченького. Или, может, достанет из печки щей. Они, конечно, постные, остыли, чуть тепленькие. Но все равно, если взять ломоть хлеба потолще...

Я почувствовал, что желудок мой совершенно пуст и, для того чтобы дойти до дому, я обязательно должен что-нибудь съесть, хотя бы жесткую хлебную корку со стаканом воды. Некоторое время я шел, вспоминая, как однажды, еще до войны, съел с морсом целую буханку хлеба. А то еще, помнится, я варил себе обеды, когда жил не в общежитии, а на частной квартире. Это тоже было до войны. Я шел на базар и покупал на рубль жирной-прежирной свинины. Она стоила десять рублей килограмм. Значит, на рубль доставался мне стограммовый кусок. Эту свинину, изрезав на одинаковые кубики, я варил с вермишелью. Белые кубики плавали сверху, и, когда с ложкой вермишели попадал в рот кубик, во рту делалось вкусно-вкусно... Продавали до войны и сухой клюквенный кисель. Разведешь розовый порошок в стакане кипятку...

Тут у меня в голове гвоздем засела мысль: надо будет у этого мужика, когда он дойдет до своего дома, попросить кусок хлеба, – может, даст. Если есть дом, значит, есть и хлеб в доме. Все же не голодовка теперь. Но вот ведь какая досадная психология! Когда ты сыт и у тебя все есть, ничего не стоит спросить у других людей и хлеба, и еще чего-нибудь. Но когда на этот кусок вся надежда...

«Значит, что же, вроде милостыни получится? «Подайте Христа ради!» Так, что ли? Вовсе не милостыня. Вместе идем. Почему не спросить?»

Однако я-то знал, что мой язык ни за что не повернется, чтобы и вправду в виде милостыни попросить кусок хлеба. «А может, попроситься ночевать? До его деревни километра три да там двадцать. Не дойдешь. А если ночевать пустит, то небось и поесть даст. Факт! Вот жаль, я неразговорчивый человек. Другой на моем месте теперь казался бы ему лучшим другом. Бывают такие говоруны. Теперь он сам бы уговаривал меня зайти к нему переночевать или просто чайку попить. Или, может быть, щей... Они хоть и остыли теперь, чуть тепленькие...»

– Война, брат, переживать надо! – говорил между тем спутник, не сбавляя ходу.

Наверное, мой вид, мое демисезонное пальтишко, моя усталость – наверное, все это возбуждало сочувствие, иначе с чего бы это он меня взялся утешать.

– Теперь все переживают. На фронте переживают – смерти ждут каждый момент: здесь матерям да женам за своих страшно – опять переживания. А у кого уж убили, кому «похоронные» пришли, тем и подавно слезы и горе. А мы с тобой еще что! Руки, ноги целы, идем домой, а не где-нибудь в окопе лежим, значит, как-нибудь переживем.

Мне вспомнилось, что точно такой же фразой утешал меня Мишка, сидя на кровати и уминая ветчину с маслом. «Тебе-то что не пережить!» – зло подумал я про спутника. Но все же через некоторое время остыл: «Сердиться мне на него – за что? За что злиться? Что у него дом ближе, чем у меня, или что одет теплее? Я так на него злюсь, – думал я, – как будто я уж попросил хлеб, а он отказал. Или насчет ночлега. Я ведь не спрашивал. За что же злиться? А может, он и хлеба даст, и ночевать пустит, – ничего не известно».

Но и до сих пор я не знаю, как отнесся бы попутчик к моей просьбе насчет хлеба или ночлега, потому что, когда дошли до его деревни, он свернул с дороги на тропинку вдоль домов и сказал мне, дотронувшись до башлыка:

– Ну, бывай здоров! Не падай духом...

Может быть, на полсекунды опередил он меня со своим прощанием. А может быть, если бы и минуту стояли на перепутье, все равно я не осмелился бы спросить, кто знает. Так или иначе – мужик пошел к своему самовару и к своим щам, а я остался один среди ночи, вошедшей теперь в полную силу.

Метель становилась сильнее. Местами колею перемело так, что шагов десять приходилось идти, увязая почти до колен. Радостно было после этого опять почувствовать под ногами твердую опору. Хорошо еще, что в руках была палка, которой я нащупывал дорогу там, где перемело. Когда-то здесь прошла, должно быть, колонна машин, и хоть колею давно замело снегом и узкий санный путь проторился над ней, все же колея существовала, и палка находила ее.

Как ни старался я вообразить, что глаза самой красивой девчонки со всего курса, синие глаза Оксаны смотрят на меня в эту минуту и, значит, надо идти как можно тверже и прямее, не сгибаться под ветром, не поворачиваться к нему спиной, как ни почетна была моя задача принести каравай хлеба ребятам из общежития, ночь взяла свое – мне стало жутко.

Теперь кричи не кричи, зови не зови – никто не услышит. Нет поблизости ни одной деревеньки. Да и в деревнях все люди сидят по домам, ложатся, наверно, спать, прислушиваясь к вою ветра в застрехах, в трубе, в оконных наличниках. Даже если кошка дома, то рады и за кошку, что сидит на стуле возле печки, а не шляется где-нибудь.

Я почувствовал, что, несмотря на холод, неприятная липкая испарина выступила по всему телу и словно бы вместе с ней ушли, улетучились последние силенки. Ноги сделались как из ваты, под ложечкой ощутилась некая пустота, и безразличие овладело мной. Скорее всего, спасло меня то, что не на что было присесть. Если бы я нес хоть пустяковый чемоданишко, то, наверное, сел бы на него отдохнуть и, конечно, заснул: раскопали бы на другой день, наткнувшись на островерхий бугорок снега.

Но присесть было не на что, и я механически шагал, приминая рыхлый снежок и почти не продвигаясь вперед из этой бесконечной ночи к крохотному и недостижимому островку тепла и покоя, где теперь спит моя мать, не зная, что я бреду сквозь метельную темень.

То, что мне не дойти, было ясно. Но в то же время (может быть, единственно от молодости) не верилось, что я в конце концов здесь погибну!

Случится что-нибудь такое, что поможет мне, выручит, и я все-таки дойду, и сяду на лавку около стола, и мать достанет мне с печи теплые валенки, и я наемся, а потом закурю, и ничего не будет слаще той глубокой, той долгожданной затяжки. Нет, что-нибудь произойдет, что я все-таки не останусь здесь навсегда. Ведь это так реально: теплый дом, и мать, и валенки, и еда. Это ведь все существует на самом деле, а не придумано мною. Нужно только дойти – и все. А дома есть и валенки, и, конечно, есть у матери припрятанная на случай махорка...

Вдруг я заметил, что мои ноги (а я глядел теперь только под свои ноги) как бы отбрасывают тень, да и от самого меня простерлась вперед темная полоса. Я оглянулся. Случилось именно самое невероятное, самое чудесное и волшебное: по застарелой колее, беспорядочно разбрасывая свет фар то вправо, то влево, то кверху, то книзу, пробирался настоящий автомобиль! Я еще не знал, какой он: легковой, или полуторка, или трехтонка, или, может быть, «студебеккер», но это безразлично – главное, автомобиль, и свет, и люди, и, как и следовало ожидать, я спасен, я не останусь замерзать в этой заснеженной черноте!

О том, что автомобиль может не остановиться, а проехать мимо, у меня не было и мысли. Он для того только и появился здесь, чтобы подобрать и спасти меня, как же он может не остановиться? Если бы я знал, что он может не остановиться, я бы встал посреди дороги и

растопырил руки. А то я шагнул в сторонку и, кажется, даже не сделал самого простого – не поднял руки, настолько очевидно было, что меня нужно подобрать. И вот автомобиль (это оказалась полуторка), разбрасывая снег, проехал мимо меня. Ночь хлынула в пространство, на время отвоёванное у нее человеческим светом, залила его еще более густой, еще более непроглядной темнотой.

Полуторка не ехала, а ползла. В другое время мне ничего не стоило бы нагнать ее пятью прыжками и перекинуть себя через борт, едва коснувшись ногой какого-нибудь там выступа. Но теперь мне показалось, что если я, собрав последние крохи сил, побегу, и вдруг не догоню машину или не сумею в нее забраться, и сорвусь, и упаду в снег, то уж, значит, и не встану. Вот почему я не побежал.

Отъехав шагов двести, машина остановилась. И неудивительно. Удивительно было другое: как она могла оказаться на этой дороге и как она вообще по ней пробиралась?

Я понял, что машина остановилась, когда около нее начало мелькать белое пятно света от электрического фонарика. Я догадался: люди вышли из кабины и осматривают колеса и яму, в которую они провалились.

Вопрос теперь решался просто: кто скорее? Я скорее добреду до машины или машина тронется с места? Иногда мотор начинал рычать усиленно и надрывно, даже стон и свист слышались в его рычании. У меня обрывалось сердце: сейчас пойдет, выкарабкается из ямы! Но рычание стихало, снова мелькал фонарик, и вскоре я стал различать силуэт машины, еще более темной, чем сама ночь.

Когда я добрал до автомобиля, людей около него уже не было. Вот уж снег из-под задних колес долетел до меня – так я приблизился к цели. Вот уж я вижу, как бешено крутятся колеса, стараясь зацепиться хоть за какую-нибудь опору, как дрожит деревянный кузов. Вот уж три метра от кончиков моих протянутых рук до заднего борта, вот уж два, вот уж один метр... Только бы теперь, в эту последнюю секунду, не дернулся, когда я почти ухватился за борт.

Идти три метра к кабине и спрашивать разрешения было мне не под силу. Кое-как я нашарил ногой железный выступ пониже кузова, кое-как перевалился через высокий борт и мешком упал на дно. В эту же секунду автомобиль, зацепившись наконец за что-то, подпрыгнул и дернулся с места.

Застарелая колея, по которой пробирался автомобиль, проходила в четырех километрах от моего дома. Значит, мне надо было уследить момент, выбрать самую близкую к дому точку дороги, чтобы выпрыгнуть из кузова и идти дальше. Но как только я лег на дно кузова, как только почувствовал, что не нужно больше шагать и вообще двигаться, так и задремал. Сколько я дремал, неизвестно. Очнулся же от толчка. Мне показалось, что темные силуэты изб и ветел рядом с дорогой знакомы, что это и есть то самое село, возле которого мне надо выпрыгнуть из кузова: отсюда до моего дома четыре километра. Перевалившись через задний борт, я отпустил руки и упал в снег. Грузовик сразу растворился в метельной темноте. Люди в кабине так и не знают, что подвезли случайного попутчика, больше того, не дали ему замерзнуть.

Приглядевшись к избам и деревьям, к порядку домов, я понял, что грузовик либо увез меня дальше, чем мне нужно, либо куда-нибудь в сторону, потому что деревня, в которой я очутился, была мне совершенно незнакома. Значит, не было у меня выхода, как стучаться в одно из черных окон в надежде, что затеплится оно красноватым огоньком коптилки, и проситься переночевать.

Все избы были мне одинаково незнакомы, все они были для меня чужие, но я зачем-то брел некоторое время вдоль деревни, как бы выбирая, в какую избу постучаться, и неизвестно почему свернул к одной из изб (ничем она не отличалась от остальных, разве что была похуже). Есть, должно быть, у каждой из русских изб эдакое свое «выражение лица», которое может быть либо суровым, либо жалким, либо добрым, либо печальным. Наверное, этим-то подспудным я и руководствовался, выбирая, в какое окно постучать. А может быть, просто

понадобилось некоторое время, чтобы собраться с духом и окончательно утвердиться в мысли, что стучать придется неизбежно, так лучше уж не тянуть.

Сначала я постучал в дверь на крыльце, потом, осмелев, потюкал ноготком по морозному стеклу окна. Сквозь двойные рамы не доходило мое тюканье до нутра, до избяного тепла, а, может быть, сливалось с шумом ветра и с разными метельными звуками. Тогда я начал стучать сгибом пальца, и вскоре что-то в глубине дома сдвинулось, скрипнуло, вздохнуло, и голос совсем близко от меня за дверью спросил:

- Вам кого?
- Переночевать бы мне, с дороги сбился, а метель.
- Эко чего придумал! Могу ли я, одинокая баба, мужика ночевать пустить?
- Да не мужик я, ну вроде бы... одним словом, студент.
- Откуда идешь-то?
- Из Владимира.
- Чай, не из самого Владимира пешком?
- То-то что из самого.

Было слышно, что женщина за дверью с трудом вытаскивает деревянный засов из петель, двигает его из стороны в сторону, чтобы скорее вытащить.

Душное избяное тепло, как только я вдохнул его несколько раз, опьянило меня, сразу разморило. Я сидел на лавке не в силах пошевелиться и блаженно озирался по сторонам.

Женщина (ей на вид было лет пятьдесят – пятьдесят пять, – значит, надо считать, что около сорока) достала с печи валенки, а из печки, погремев ухватом, – небольшой чугунок.

- Щи на обед варила. Да теперь уж, чай, остыли, чуть тепленькие.

Сбывалось все, точь-в-точь как представлялось мне, когда я шел еще рядом с незнакомым мужиком! И ломоть хлеба оказался таким же толстым и тяжелым, каким я и ощущал, когда его еще не только не было в моей руке, но и не было никакой надежды на то, что он будет.

- Я ел, а тетя Маша (так звали женщину) смотрела на меня, сидя напротив, думая о своем.
- Сколько исполнилось-то? – наконец спросила она.
- Семнадцать.
- Значит, на будущий год, если она не кончится, и тебе туда?

Потом тетя Маша помолчала, как бы решая про себя, говорить ли дальше или уж не говорить, и стала рассказывать. Она рассказывала, а я слушал, закурив после ужина (остался табачок от сына, именно от того самого, про которого она теперь рассказывала). И шли минуты, и шли часы, и проходила за окном метельная военная ночь... И проходила тут жизнь русской женщины, тети Маши, впустившей меня среди ночи и теперь все рассказывающей, рассказывающей...

Значит, не было случая до этого, чтобы рассказать и облегчить душу. Значит также, я показался ей благодарным слушателем, а то ведь, бывает, и просится из души, а передать это человеку нет никакого желания. И то правда: единственно, чем я мог ответить тете Маше на ее привет и доброту, было мое благодарное слушание.

Она рассказала, что сначала от сына не было никаких вестей, а потом пришло письмо, и писано оно было чужой рукой. Писал Митя о том, что лежит в госпитале в Москве, и звал ее повидаться.

Главная часть рассказа тети Маши состояла из подробного описания всех преград, которые встали перед ней на пути к Москве и которые она по очереди преодолевала. Не так-то просто было попасть в Москву осенью сорок первого года, когда Москва была почти что осажденным городом. Если бы я в то время мог записать эту ее дорогу, а теперь только чуть-чуть подправить, то это была бы целая повесть и не нужно было бы ничего добавлять.

В Москву она все-таки прошла и Митю в госпитале отыскала. Он оказался раненый и, кроме того, весь обмороженный. Тетя Маша как на него взглянула, так сразу поняла, что не

жилец. Села возле него, хотела хоть ночь, хоть семь ночей, а просидеть рядом. Ведь и сто просидишь, если последний сын и ночи его тоже последние...

Но сидеть не пришлось: очень уж Митя просил молочка. Он, оказывается, был большой любитель молока и в мирное время в покос или в жнитво выпивал сразу по крынке. И парное тоже любил. С детства еще приучился, чтобы прямо из подойника – кружку молока. «Большая была кружка у нас...» Тут тетя Маша даже принесла эту кружку с кухоньки, чтобы я мог посмотреть, какая она. Кружка была алюминиевая, во многих местах помятая. Может статься, Митя еще мальчонкой играл с ней или, по крайней мере, часто ронял.

Уж если мать сумела добраться до Москвы и даже пройти в самую Москву, то, наверное, она сумела бы достать раненому сыну молока, если бы это было возможно. Но не было молока в Москве поздней осенью сорок первого года. Тетя Маша решила ехать за молоком в свою деревню.

Тут она опять подробно рассказала мне о своих дорожных приключениях: и когда ехала из Москвы в деревню, и когда везла Мите бидон самого жирного коровьего молока. «Я и больше бы захватила. Не испортилось бы. Да в чем же его повезешь?»

Тетя Маша замолчала надолго. И я, оказывается, не ошибся, спросив ее тихим голосом:

– Ну и что же, успел он попить-то или уже не успел?

– Успел, – ответила тетя Маша.

Постлано мне было на печке. Вскоре сквозь подстилку (старый тулуп и байковое одеяло поверх него) стало доходить до тела устойчивое, ровное тепло кирпичей. Засыпая, я думал: вот шел я вдоль деревни, и все избы были для меня одинаковые. А что затаилось в них, за ветхими бревнами, за черными стеклами окон, что за люди, что за думы, – неизвестно. Вот приоткрылась дверь в одну избу, и оказалось, что живет в ней тетя Маша со своим великим и свежим горем. И уж нет у нее мужа, нет сыновей и, надо полагать, не будет. Значит, так и поплывет она через море жизни одна в своей низкой деревенской избе. И остались ей одни воспоминания. Единственная надежда на то, что особенно вспоминать будет некогда: надо ведь и работать.

Если бы я постучался не в эту избу, а в другую, то, наверно, открыла бы мне не тетя Маша, а тетя Пелагея, или тетя Анна, или тетя Груша. Но у любой из них было бы по своему такому же горю. Это было бы точно так же, как если бы я очутился в другой деревне, четвертой, пятой, в другой даже области, даже за Уральским хребтом, в Сибири, по всей метельной необъятной Руси.

... Утром я без особых приключений добрался до родительского дома. Мать испекла мне большой круглый каравай заварного хлеба. Он от обычного черного хлеба отличается тем, что заметно сластит и немного пахнет солодом.

Переночевав дома ночь, положив драгоценный каравай в заплечный мешок, я отправился обратно во Владимир к своим друзьям в студеном, голодном общежитии.

Оказывается, виноваты были не одна только метель, не одно только то обстоятельство, что я из Владимира вышел не поев как следует и потому быстро обессилел. Оказывается, сами по себе сорок пять километров зимней дороги – нелегкое дело. Когда я прошел двадцать пять километров и вышел на асфальтированный большак и, таким образом, идти мне осталось двадцать километров, я был почти в таком же состоянии, как и в позапрошлую ночь в метель, когда, если бы не случайный грузовик, замерзать бы мне среди снежного поля.

Кроме того, я, должно быть, простудился за эти два дня, и теперь начиналась болезнь. Мне сделалось все безразлично. Какое бы интересное дело, ожидающее меня в будущем, ни вспомнилось, мне казалось оно теперь совсем неинтересным и скучным: не хочу летом купаться в реке, не хочу ходить на рыбалку, не хочу читать книги, не хочу в лесу жечь костер, не хочу ходить в кино и есть мороженое, безразлично мне даже, есть ли на свете Оксана, самая

красивая со всего нашего курса синеглазая девчонка. Я давно заметил за собой, что если у меня пропадает интерес ко всему на свете, значит, я начинаю хворать.

Пройдя по асфальту километр, я почувствовал себя совсем плохо и стал поднимать руку тем редким, можно сказать редчайшим, грузовикам, которые время от времени догоняли меня. Некоторое развлечение состояло в том, чтобы считать эти проходящие грузовики и загадывать, который же из них возьмет меня с собой.

Остановился седьмой грузовик (к этому времени я пробрел еще три километра).

– Ну, куда тебе? – грозно спросил шофер, выйдя из кабины. – Спирт есть?

– Нету, какой может быть спирт?

– Табак, папиросы?

– Нету.

– Сало? Э, да что с тобой разговаривать! – Он пошел в кабину. Угрожающе зарычал мотор.

– Дяденька, дяденька, не уезжайте! У меня хлеб есть, заварной, сладкий. Сегодня утром мать испекла.

Мотор перестал рычать.

– Покажи.

Я достал из мешка большой, тяжелый каравай в надежде, что шофер отрежет часть и за это довезет до Владимира.

– Это другое дело, полезай в кузов.

Каравай вместе с шофером исчез в кабине грузовика. Надо ли говорить, что больше я не видел своего каравая. Но, видимо, болезнь крепко захватила меня, если и само исчезновение каравая, ради которого я перенес такие муки, было мне сейчас безразлично.

Ничего не изменилось в общежитии за эти два дня. Как будто прошло не два дня, а две минуты. Ребята оживились, увидев меня, но тут же поняли, что мне не по себе. Я разделся, залез в ледяное нутро постели и только попросил друзей, чтобы они истопили печку и принесли бы из титана кипятку.

– Комендант запер чердак на пудовый замок (эта новость была самой неприятной, потому что я все никак не мог согреться), а кипятку сколько хочешь. Только вот с чем его?.. Да ты из дому-то неужели ничего не принес?

Тогда я рассказал им, как было дело.

– А не был ли похож этот шофер на нашего Мишку Елисеева? – спросил Володька Пономарев.

– Был, – удивился я, вспоминая круглую красную харю шофера с маленькими синими глазками. – А ты как узнал?

– Да нет, я пошутил. Просто все хапуги и жадюги должны же чем-нибудь быть похожи друг на друга.

– Так ты что же, так ничего и не ел целый день? – вдруг догадался Генка Перов. – Хоть бы краюху отломил от того каравая.

– Каравай-то я вам нес: думал, обрадую. Сейчас бы разрежали его на куски. С кипятком...

Тут в комнате появился Мишка Елисеев.

– Слушай, – обратились к нему ребята. – Видишь, захворал человек. Дал бы ему чего-нибудь поесть. Не убьют бы.

Никто не ждал, что Мишку взорвет таким образом: он вдруг начал кричать, наступая то на одного, то на другого. Было видно, что у него изо рта вылетают брызги слюны, и это мне, лежащему в ознобе, было почему-то противнее всего.

– А вы что, проверяли мою-то еду? У меня что, амбары с едой? Я тоже как вы, мне на хлебную карточку тоже четыреста граммов дают. Ишь вы, какие ловкие в чужую суму глядеть! Нет у меня ничего в тумбочке, можете проверить. Разрешается.

При этом он, как мне показалось, успел метнуть хитрый лучик на свой тяжелый железный замок.

Напряженность всех этих дней, усталость, мужик, не позвавший меня ночевать, грузовик, проехавший мимо, горе одинокой и доброй тети Маши, сердоболие, которое вложила мать в единственный каравай заварного хлеба (и думает, что я его буду есть теперь целую неделю), бесцеремонность, с которой у меня взяли этот каравай, огорчение, что не принес его в общежитие, заботы ребят, хотевших покормить меня из Мишкиных запасов, его хитрая бесстыдная ложь – все это вдруг начало медленно клубиться во мне, как клубится, делаясь все темнее и зловещее, июльская грозовая туча. Клубы росли, расширялись, подступали горечью к горлу, застилали глаза и вдруг ударили снизу в мозг темной непонятной волной.

– А вот я и проверю!.. – твердо, как мне показалось, сказал я, поднимаясь с койки и путаясь в сбившемся одеяле.

Говорили мне потом, что я спокойно подошел к печке, спокойно взял клюшку, которой мы крушили обычно тумбочки, и двинулся к Мишке. Мишка сначала метнулся, чтобы загородить свою тумбочку грудью, но, значит, свиреп был мой решительный вид, если все же он уступил мне дорогу и даже отскочил к двери.

Остальное я помню хорошо. Привычным жестом наклонил я тумбочку наискось (отметив про себя, что тяжелая, не в пример тем, с чердака) и опустил клюшку на нужное место.

О, сладость бунта! О, треск и скрежет лопающихся скреп в душе и в мире! Разве дело в размерах? Дело в сути ощущений и чувств. Это была моя Бастилия и те засовы на тех воротах, которые придется еще когда-нибудь разбивать.

Я поднял клюшку и раз, и два, и вот уже обнажилось сокровенное нутро «амбара»: покапталась стеклянная банка со сливочным маслом, кусочками рассыпался белый-белый сахар, сверточки побольше и поменьше полетели в разные стороны, на дне под свертками показался хлеб.

– Все это съесть, а тумбочку сжечь в печке, – будто бы распорядился я, прежде чем снова укрыться легоньким одеялом. Самому мне есть не хотелось, и даже поташнивало. Впрочем, скоро я забылся, потому что болезнь вошла в полную силу.

Мишка никому не пожаловался, но жить в нашей комнате больше не стал. Его замок долго валялся около печки, как совсем ненужный и бесполезный предмет. Потом его унес комендант общежития.

1961

Мошенники

Один раз в жизни мне случилось быть настоящим мошенником. История эта небольшая, поэтому, хоть в ней нет ничего занимательного и примечательного, а тем более такого, что показывало бы нас, участников этой истории, с выгодной стороны, я ее расскажу.

Мы были на практике в чужом городе, на большом авиационном заводе. Семнадцатилетние пареньки, без пяти минут техники, мы все же мало умели делать полезного для того, чтобы завод обрадовался нам и принял нас как нужных и равных. По правде говоря, заводу было не до этого. Шла вторая весна войны, и, надо полагать, авиационному заводу хватало забот помимо того, чтобы путаться с желторотыми практикантами.

Может быть, и не хватало людей, может быть, даже их трагически не хватало, но мы приехали всего на один месяц и для военного завода не могли считаться людьми. Ставить нас на черную работу (например, разбирать мусор или грузить тяжести) было неудобно – все же преддипломная практика. У станков стоять мы не умели, то есть вообще-то умели, но сделали бы в три раза меньше опытного токаря или фрезеровщика. Для военного времени это была непозволительная роскошь. Заниматься с нами, водить нас по заводу, по цехам, все показывать, обо всем рассказывать, ко всему приучать было попросту некому.

Я рассказываю об этом потому, что, наверное, тут подтвердилась лишний раз древняя мудрость: праздность является матерью всех пороков. Если бы мы, отстояв свою смену, усталые, пусть даже трижды голодные, приходили в заводскую столовую вместе с рабочими, сидели с ними за столики, обедали, разговаривая о нашей же работе и чувствуя себя равными среди равных, нам, я уверен, и в голову не пришло бы сделать то, что мы сделали однажды. В первые дни мы бродили по цехам, глядя на все со стороны, как экскурсанты. Потом, заметив, что никто нами не интересуется, стали приходить на завод на час-полтора, а потом и вовсе перестали показываться. Так вот и появилась та самая праздность, от которой, как известно, все равно как мокрицы от сырости, заводятся в душе человека самые разнообразные пороки.

И ведь не то чтобы мы были совсем уж неразумные мальчишки, что мы вовсе не понимали, где право и лево. Лучше всего сказать в таком случае – бес попутал, если бы существовали на свете бесы...

Правда, в эти дни, все из-за той же праздности, разгуливая по городу, мы впервые попали в оперный театр. Никто из нас сроду не слышал оперы, не видел красочных декораций, самой обстановки оперного театра. Все это произвело на нас такое действие, что мы на другой день перестали разговаривать друг с другом нормально, по-человечески, но обязательно пели:

- О Васька, дай мне ножик перочинный!
- Зачем те-ебе?
- Я зачину свои карандаши...
- Возьми, пожалуйста, он – в кармане, в брюках.

Немудреный репертуар областного театра мы переслушали весь (там шли три оперы), и, пожалуй, больше всего меня теперь удивляет, как могли тогда в нас соединиться впервые проснувшаяся тяга к искусству и первое (слава Богу, что последнее!) мелкое, грязное мошенничество.

Однако надо бы по порядку... Наступал час, когда мы дружно (ведь нас четверо жило в общежитской комнате) и целеустремленно шли в сторону заводских корпусов. То был час обеда. Нас прикрепили к заводской рабочей столовой, где, отрывая талончики от обеденных карточек «Р-4», мы получали гороховый суп и кашу из мелких прозрачных шариков, называемых сагой. Для того чтобы получить к обеду двести граммов ржаного хлеба, надо было отдать другие талончики, где печаткой было обозначено сегодняшнее число.

В столовой былолюдно и шумно. Подавальщица подолгу не несла нам суп и кашу, так что мы обыкновенно щипком, щипком успевали съесть весь свой хлебишко, а пообедали вхолостую. Но все же это был настоящий обед. По утрам мы завтракали дома. Чаще всего это была еда, приготовленная по рецепту Яшки Звонарева: в миску мы наливали воды и немного льняного масла, солили все это и крошили хлеб.

Известно, что подростки – самый прожорливый народ. Значит, мы еще не вышли из подростков, если могли бы, так нам казалось, есть непрерывно с утра до вечера. Но увы!.. С завтраком мы справлялись очень быстро, с обедом – тоже (если не считать задержек из-за подавальщицы), а ужин... Ужинать нам не приходилось вовсе, ибо все, что можно было съесть, мы съедали гораздо раньше.

– Если бы хлебца побольше, – мечтательно начинал кто-нибудь из нас, – жить бы можно... Во-первых, оставалось бы к вечеру. Хотя бы с солью. Во-вторых, утром тюря была бы гуще. В-третьих, на базаре можно обменять на масло, а масло вылить в тюрю. Эх, да что и говорить! Известно – хлеб всему голова и основа. (Стоит заметить, что про хлеб мы не пели наподобие оперы.)

Обычно такие разговоры происходили вечером, то есть в самые голодные часы. Но тут прилетали немцы, начинали стрелять зенитки, по крышам звякали осколки от зенитных снарядов, в темноте метались прожекторы. Наконец два или три оглушительно ухало... Это отвлекало, и мы засыпали, разговаривая уже не о хлебе, а о только что закончившемся налете. Все меньше часов оставалось до желанной тюри.

Однажды после обеда Яшка Звонарев вынул из кармана измятый клочок бумаги и стал тщательно расправлять его на столе. Мы все увидели, что это не просто клочок бумаги, а тот самый талончик, который выдают нам в кассе и по которому мы получаем обеденный хлеб.

– Где взял?

– Откуда он у тебя?

– Ну-ка покажи!

– Где взял, там нету! На полу подобрал. Наверно, кто-нибудь обронил. Или подавальщица. Но не в этом дело. Смотрите, какая простая бумажка – клочок. Таких из одного листа тысячу нарезать можно. Нагибаться лень, чтобы поднять. Однако – хлеб! В этой бумажке содержится двести грамм хлеба. На вот, съешь, жуй, жуй – сыт не будешь: бумажка. А в ней – хлеб. Душистый, мягкий. Да хоть бы и черствый – все равно. И даже не написано, что хлеб. Ну хотя бы нарисовано было: буханка, или два кусочка, или там ржаной колосок. Нет. Написано только, что «13 июня 1942 года». А завтра будет написано: «14 июня», а послезавтра – «15-го».

– А послепослезавтра – шестнадцатого, – поддразнил Яшку Звонарева Генка Серов. – Пойдем-ка лучше, пока не поздно, получим по этому талончику двести грамм, а то столовая закроется – пропадет.

– Не пропадет! Можно тройку переправить на восьмерку и получить хлеб восемнадцатого числа. Это ведь очень просто сделать. А знаете что, – обвел нас всех воспламенившимися вдруг глазами Яшка, – знаете что... У нас будет куча хлеба, братцы, вот смотрите... – С этими словами Яшка нарисовал на ладони чернилами: «13 июня 1942 года», дал чернилам высохнуть, подышал на них, как дышат в канцелярии на печать, и приложил к бумаге. На бумаге обозначились цифры и буквы. Но были они бледные, а кроме того, читались наоборот.

– Ерунда, – вдохновился Яшка. – Айн момент... Генка, иди поддержи зеркальце, сейчас я напишу правильно...

Генка держал маленькое зеркальце, а Яшка старательно рисовал на ладони. Мы с Витькой Рябцовым наблюдали. Оттиск на этот раз получился явственнее, читался, как и полагается, слева направо, но все же его нельзя было класть рядом с образцом, настолько он выглядел коряво и кустарно.

Мы, наверно, потому и не обсуждали Яшкиной инициативы и не пресекли ее в нужный момент, что видели всю ее бесплодность и бестолковость.

Но Яшка не унимался. Два дня он непрерывно рисовал на ладони цифры и буквы, ставя отпечатки на газетах, на каждом клочке бумаги и даже на обоях. На третий день, отчаявшись и вымыв руки, он переменял тактику.

Теперь он не рисовал на своих ладонях, а купил несколько канцелярских резинок, какими стирают неудачные карандашные записи, наточил свой перочинный ножичек и принялся вырезать не дающие ему покоя цифры и буквы на резинках.

Между тем исподволь психология наша сама собой приготавливалась к тому, что почему бы и не попробовать, если удастся... Постепенно мы настраивались на Яшкин лад, – так сказать, постепенно созревали для преступления. Созревание наше шло, главным образом, в часы голода, когда хлеб казался наиболее желанным и, значит, наиболее недоступным.

Обедая в столовой, мы теперь тщательно рассматривали хлебные талончики и видели, что действительно в них нет ничего мудреного – число, месяц и год – и что если в ворохе истинных талончиков затерять парочку «наших», то, конечно, и подавальщица не заметит, и женщина на раздаче не заметит, и, таким образом, мы получим четыреста граммов лишнего хлеба. Так просто и заманчиво! Скорей бы Яшка заканчивал эти свои резинки!

Работа была тонкая и продвигалась медленно. Нужно было кончиком ножа «выбирать» лишнюю резину между мелкими, в сущности, буквами. А попробуйте, например, у восьмерки выбрать резину в крохотных колечках так, чтобы колечки получились ровные и круглые, а не как-нибудь! Кроме того, требовался набор разных цифр, чтобы отпечатывать разные числа: дни идут – за девятнадцатым грянет двадцатое...

Однажды Генка Серов глядел-глядел на кропотливые Яшкины занятия, потом, ничего не говоря, вышел и пропал около двух часов. Появился он загадочно сияющий, обошел вокруг Яшки, как бы не решаясь сразу огорошить нас и наслаждаясь лишь предвкушением своего торжества.

Но все же надолго его не хватило. Обойдя вокруг стола три раза, он без дальнейших обиняков вынул из кармана и положил на стол рядом с жалкими Яшкиными резинками замечательное фабричное изделие. Это было приспособление, при помощи которого в кинотеатрах ставят на билеты число, месяц и год. Резиновые ленточки с цифрами и буквами передвигались одна возле другой, так что за две секунды можно было составить любую надпись: двадцать пятое так двадцать пятое, двадцать восьмое так двадцать восьмое. Нетрудно было нам уточнить, что в заводской столовой хлебные талончики штемпелюют точно такой стандартной, фабричной, ширпотребовской печаткой.

Яшкина работа потеряла смысл, но зато расцвела его идея. Хохоча, нетерпеливо выхватывая друг у друга из рук печатку, мы клеймили ею все вокруг себя, что только можно было клеймить.

Вечером Яшка (никто не оспаривал у него это право) в нашем тесном и ободряющем окружении начал священнодействовать. На бумажном билетике, точно скопированном с образца, появилась первая надпись, сулившая нам первые двести граммов незаконного хлеба. Мы так и сяк сличали новоявленный фальшивый талончик с образцом – никакой разницы между ними не было. Теперь нужно было решить, сколько талончиков сделать. Здравый смысл подсказывал: напечатать для начала один или два талончика и посмотреть, что из этого получится. Впрочем, если рассуждать строже, здравого смысла вообще не было близко возле нас в то время, иначе мы выбросили бы и печатку, и все Яшкины резинки на помойку. Вместо этого мы напечатали сначала четыре талончика – на каждого человека по двести граммов.

– Это мы съедим за обедом, – предложил Генка Серов. – Теперь неплохо бы немного хлеба на утро, на нашу тюрю.

Мгновенно, как в сказке, появились еще четыре талончика.

– Теперь хорошо бы килограммчик хлеба, чтобы обменять его на базаре на подсолнечное масло.

– То же и на курево можно там обменять.

– А я видел вчера, как один мужик на кусок хлеба выменял большую селедку. Вот бы нам посолиться!..

Мы рассуждали между собой, мечтали то о подсолнечном масле, то о турецком самосаде, то о селедке, а Яшка, как восточный волшебник, немедленно претворял наши мечтания в жизнь: долго ли было ему надавить печаткой на бумажный билетик! Опомнились мы, когда накопилась гора талончиков. Пересчитали – пять килограммов восемьсот граммов хлеба.

– Нельзя столько сразу. Подозрительно. Как бы не попасться. (Что будет с нами, если мы попадемся, мы как-то не думали.)

– Чего бояться! Как же мы попадемся, если талончики не отличишь друг от друга? Предъявим подавальщице – обязана принести. Не все равно ей, сколько нести – восемьсот грамм или...

– Да, пожалуй, пять восемьсот все-таки многовато. Давайте убавим для первого раза. Ну хотя бы четыре кило... По килограмму на брата как раз будет.

В столовой в этот день, как нарочно, оказалось народу меньше, чем обыкновенно. То ли мы пришли в своем нетерпении чуть-чуть пораньше.

В кассе мы оторвали от своих хлебных карточек нужные купончики и получили на руки по талончику, точно по такому же, каких полно было у Яшки в кармане. Получив эти талончики, мы вышли из столовой в уборную, закрывшись на крючок, стали сличать с фальшивыми. Да, разницы не было! Больше того, смешав, мы не могли уже выбрать теперь из кучи те четыре, что только что получили в кассе.

– Ну как, кладем? – обвел нас всех Яшка тревожными глазами, когда мы снова уселись за стол. – Кладем? Рисуем? После не жалеть.

– Клади, – ответил за всех Генка Серов.

Яшка бросил талончики на стол.

Подавальщица – черноглазая, бледная, худая девушка (раньше мы как-то не обращали внимания на то, какая она) – торопливо смахнула все наши билетики к себе на поднос и исчезла. Мы переглянулись еще раз, и каждый, наверно, в лице другого прочитал тревогу. Нет, нет, мы не думали о том, с кого спросится за четыре килограмма хлеба, которые мы сейчас получим: с этой черноглазой и как бы полупрозрачной девушки, или с раздатчицы, пожилой, усталой женщины (не то чтобы усталой, но с какой-то устойчивой усталостью в глазах), или, может быть, с кассирши, которая уже вовсе ни в чем не виновата. Не думали мы и о том, что, может быть, этих четырех килограммов не хватит двадцати рабочим, отстоявшим у станка десять или двенадцать часов. Но зато впервые мы задумались о том, что будет с нами самими, если нас неожиданно разоблачит вот та черноглазая подавальщица или вот та – блеклая, усталая раздатчица.

Впрочем, мне трудно говорить за своих товарищей. Что касается меня, то я явственно вдруг увидел, что нас, во-первых, немедленно прогонят с практики, а во-вторых, исключат из техникума. Мало того, нас, конечно, по законам военного времени, будут судить. Много не дадут, но даже одного года в лагерях достаточно для того, чтобы переломалась и на десятки лет вперед вылетела из колеи вся жизнь.

Мне рассказывали об этих лагерях. Попадает туда человек, к примеру, опоздавший на двадцать минут на работу. Вполне хороший, вполне порядочный человек. И вот кругом – уголовники, преступная среда. Иной мир, иной быт, иная психология. Некоторым удастся удержаться на поверхности, то есть сохранить в себе человека, большинство же идет на дно...

Мне вдруг вспомнилось, что после практики я должен на месяц поехать к себе в деревню. Это будет как раз середина лета, июль. В Журавлихе созреет в высокой лесной траве крупная,

как малина, земляника; ослепительно белые кучевые облака будут неподвижно дремать над дальним лесом, над ровными лугами, над селом с колокольной, отражаться в спокойной речке, в которой около дна, даже в самую жаркую пору, держится обжигающе студеной ключевая вода...

Вечером прохладная тишина опускается на землю. Будешь замечать воздух, которым дышишь (он станет прохладным и заметным), звезды, бледные сначала, станут ярче, разгораться, а вскоре из-за темных былинных холмов выплывет огненная половина луны, похожая на горящий стог сена или клевера. Может, в эту минуту закричит коростель; может быть, заржет в лугу кобылица; может быть, в соседней деревне за рекой железной палкой о подвешенный рельс замедленно, с растянутыми промежутками, ударят одиннадцать раз... А если лечь на землю и смотреть в сторону поднимающейся луны, то вся она окажется исчерченной, изрезанной по багровому своему полукругу черным переплетением былинки и трав. Воля...

Лежать на траве и смотреть на звезды – что может быть прекраснее и слаще! Воля...

Или, может быть, развести небольшой огонь. Тотчас исчезнет все: и туман над рекой, и окрестность, освещенная луной и звездами. Мрак сгустился вокруг огня. Можно тогда непрерывно следить, как бойкие красные лоскутки бегают с конца на конец сосновых палочек, как из холодных, твердых, неинтересных, в сущности, деревяшек начнет высвобождаться, выпаривать и тут же тянуться к звездам до поры до времени притаившееся солнце. Каждая палочка – консервная банка с солнцем. Ну не банка, что-то другое, но что «солнечные консервы» – факт. И вот солнце обретает само себя – бегают по дровам огненные языки. Тепло и свет распространяются вокруг. Искры взлетают кверху, трепещут и не веря самим себе, не веря тому, что летят. Воля...

Можно ночью уйти с гулянья с той, которая, по неизвестным законам, кажется несравненно лучше других, сидеть с ней на уютном крыльце заброшенного, «ничейного» дома. И будет шепот, и будут губы, и стыдливое расстегивание кофточки, и грудь, сухим электрическим огнем обжегшая вдруг ладонь, впервые прикоснувшуюся к полному великой тайны девичьему телу. Воля...

Странно! Но я думал о своей деревне и обо всем так, как будто то, что должно случиться, уже случилось, и деревня сделалась недоступной, и все остальное в жизни сделалось недоступным. А разве не случилось? Уже брошен жребий и перейден Рубикон. Талончики не у нас в руках, и далека и недоступна теперь моя деревня...

Черт возьми, на что же мы все это теперь меняем?! На четыре килограмма ржаного хлеба. Вся нелепость, вся глупость нашего поступка вдруг стала настолько очевидной, что я чуть было не бросился вслед за подавальщицей, чтобы отнять у нее фальшивые талончики и растоптать их на полу, и уничтожить, и забыть о них. Может быть, каждый из нас думал так же. Но правда остается правдой – никто из нас не шелохнулся, сидя за столом. Все мы напряженно следили за действиями подавальщицы (раздача была нам хорошо видна). Вот она перебрала в руках бумажки, прежде чем отдать их раздатчице. (А может, это все наваждение, что мы сейчас попадемся и нас будут судить и отправлять в лагерь или в тюрьму, может быть, сейчас принесут нам гору хлеба, и мы будем довольны и счастливы и будем обедать, есть тюрю, а завтра выменяем на базаре большую жирную селедку и стакан табаку!)

Вот движения девушки замедлились. Она снова начала перебирать все бумажки. Раздатчица, пожилая, усталая женщина, вместе с ней наклонилась над бумажками. Они перебрали их раз; начали перебирать снова, – видимо, тщательно пересчитывали. Потом раздатчица что-то спросила у девушки. Девушка кивнула головой в нашу сторону, и раздатчица стала искать глазами нас, и нашла, и долго смотрела на нас, как бы обдумывая.

Почему мы не убежали, ясно видя, что дело наше раскрыто? Ведь никто не узнал бы никогда ни наших имен, ни даже кто мы. А если бы и узнали, что практиканты, – попробуй

докажи! Не знаю почему, но мы сидели как прикованные под испытующим и принимающим решение взглядом пожилой, усталой женщины.

Женщины на раздаче о чем-то поговорили и перестали глядеть в нашу сторону, забыли о нас.

Как теперь все будет дальше? Наверно, раздатчица сейчас уйдет куда-нибудь в задние комнаты и позвонит по телефону. Конечно, теперь они будут делать вид, что не смотрят на нас, чтобы не вспугнуть. Ну точно! Раздатчица вытерла руки полотенцем и уходит. Вместо нее на раздаче появляется подмена – другая, тоже пожилая и тоже усталая женщина. А черноглазая как ни в чем не бывало ставит на большой деревянный поднос тарелки с супами и кашами, а также тарелку с хлебом. Хлеба на тарелке восемьсот граммов – это сразу видно. Четыре килограмма образовали бы хлебную гору.

Девушка ставит поднос на уголышек нашего стола и все тарелки быстро переставливает с подноса на стол.

Суп, суп, суп, суп! Каша, каша, каша, каша! Хлеб...

На тарелке с хлебом, на дне, под аккуратными черными ломтиками лежат наши талончики. Девушка ничего нам о них не говорит. И мы ей ничего о них не говорим. Не возмущаемся, почему нам вернули талончики, не требуем вместо них как бы законного хлеба.

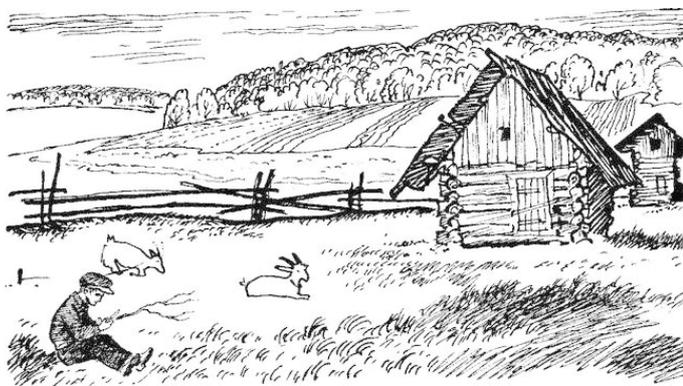
Прежняя раздатчица снова появилась в окне. Но мы не смотрели в ее сторону. Нам стыдно. Мы, обжигаясь, не разбирая вкуса, съедаем гороховый суп, обжигаясь, глотаем безвкусную саговую кашу...

Только сейчас, спустя двадцать лет, я подумал о том, что мы ушли тогда из столовой, не сказав спасибо ни черноглазой девушке-подавальщице, ни пожилой женщине на раздаче, с безнадежно усталыми, военного времени глазами.

1962

Ножичек с костяной ручкой

Из Москвы мне привезли небольшой перочинный ножичек с костяной ручкой и двумя зеркальными лезвиями. Одно лезвие побольше, другое – поменьше. На каждом – ямочка, чтобы зацеплять ногтем, когда нужно открыть. Пружины новые, крепкие, попрыгаешь, прежде чем откроешь лезвие. Зато обратно – только немного наклонишь, так и летит лезвие само, даже еще и шелкает на зависть всем мальчишкам. Отец наточил оба лезвия на камне, и ножичек превратился в бесценное сокровище. Например, нужно срезать ореховую палку. Нагнешь лозу, найдешь то место, где самый изгиб, приставишь к этому месту ножичек – и вот уже облегченно раздалась древесина, а лоза висит почти что на кожице. Может быть, не все мне поверят, но палку толщиной с большой палец я перерезал своим ножичком с одного раза, если, конечно, взять поотложе, чтобы наискосок.



Чтобы вырезать свисток, напротив, нужна тонкая работа. И тут особенно важна острота. Тупым ножом изомнешь всю кожицу, измочалишь, дырочка получится некрасивая, мохнатая по краям. Какой уж тут свист, одно шипенье! Из-под моего ножичка выходили чистенькие, аккуратные свистки.

С 1 сентября открылось еще одно преимущество моего ножа. Даже сам учитель Федор Петрович брал у меня ножик, чтобы зачищать карандаш. Неприятность как раз произошла на уроке, при Федоре Петровиче. Мы с Юркой решили вырезать на парте что-нибудь вроде буквы «В» или буквы «Ю» (теперь, во втором классе, мы уже знали все буквы), и я полез в сумку, чтобы достать ножичек.

Рука, не встретив ножичка в привычном месте, судорожно мыкнулась по дну сумки, заметалась там среди книжек и тетрадей, а под ложечкой неприятно засосало, и ощущение неправимости свершившегося холодком скользнуло вдоль спины. Забыв про урок и про учителя, я начал выворачивать карманы, шарить в глубине парты, полез в Юркино отделение, но тут Федор Петрович обратил внимание на мою возню и мгновенно навис надо мной во всем своем справедливом учительском гнев.

– Что случилось, почему ты под партой? (Значит, уж сполз я под парту в рвении поисков.) Встань как следует, я говорю!

Наверно, я встал и растерялся, и, наверно, вид мой был достаточно жалок, потому что учитель смягчился:

– Что случилось, можешь ты мне сказать?

– Ножичек у меня украли... который из Москвы...

Почему я сразу решил, что ножичек украли, а не я сам его потерял, неизвестно. Но для меня-то сомнений не было: конечно, кто-нибудь украл – все ведь завидовали моему ножу.

– Может, ты забыл его дома? Вспомни, подумай хорошенько.

– Нечего мне думать. На первом уроке он у меня был, мы с Юркой карандаши чинили...

А теперь нету...

– Юрий, встань! Правда ли, чинили карандаши на первом уроке?

Юрка покраснел, как вареный рак. Ему-то наверняка не нравилась эта история, потому что сразу все могли подумать на него, раз он сидит со мной рядом на одной парте. Про карандаши он честно сознался:

– Чинили.

– Ну хорошо, – угрожающе произнес Федор Петрович, возвращаясь к своему столу и оглядывая класс злыми глазами. – Кто взял нож, подними руку.

Ни одна рука не поднялась. Покрасневшие лица моих товарищей по классу опускались ниже под взглядом учителя.

– Ну хорошо! – Учитель достал список. – Барсукова, встать! Ты взяла нож?

– Я не брала.

– Садись. Воронин, встать! Ты взял нож?

– Я не брал.

Один за другим вставали мои товарищи по классу, которых теперь учитель (а значит, вроде бы и я с ним заодно) хотел уличить в воровстве. Они вставали в простеньких деревенских платяшках и рубашонках, растерянные, пристыженные: их ручонки, не привыкшие к обращению с чернилами, были все в фиолетовых пятнах. Каждый из них краснел, когда вставал на оклик учителя, каждый из них отвечал одно и то же:

– Я не брал...

– Ну хорошо, – в последний раз произнес Федор Петрович. – Сейчас мы узнаем, кто из вас не только вор, но еще и трус и лгун. Выйти всем из-за парт, встать около доски!

Всех ребяташек, кроме меня, учитель выстроил в линейку около классной доски, и в том, что я остался один сидеть за партой, почудилась мне некая отверженность, некая грань, отделившая меня ото всех, грань, которую перейти мне потом, может быть, будет не так просто.

Первым делом Федор Петрович стал проверять сумки, портфелишки и парты учеников. Он копался в вещичках ребяташек с пристрастием; и мне уж в этот момент (не предвидя еще всего, что случится потом) было стыдно за то, что я невольно затеял эту заварушку.

Прозвенел звонок на перемену, потом снова на урок, потом снова, но теперь не на перемену, а идти домой – поиски ножа продолжались. Мальчишки из других классов заглядывали в дверь, глазели в окна: почему мы не выходим после звонка и что у нас происходит? Нашему классу было не до мальчишек.

Тщательно обыскав все сумки и парты, Федор Петрович принялся за учеников. Проверив карманы, обшарив пиджачки снизу (не спрятал ли за подкладку?), он заставил разуваться, развертывать портянки, снимать чулки и, только вполне убедившись, что у этого человека ножа нет, отправлял его в другой конец класса, чтобы ему не мог передать пропавшее кто-нибудь из тех, кого еще не обыскивали.

Постепенно ребят около доски становилось все меньше, в другом конце класса все больше, а ножичка нет как нет!

И вот что произошло, когда учителю осталось обыскать трех человек. Я стал укладывать в сумку тетради и книжки, как вдруг мне на колени из тетрадки выскользнул злополучный ножичек. Теперь я уж не могу восстановить всего разнообразия чувств, нахлынувших на меня в одно мгновение. Ручаться можно только за одно – это не была радость от того, что пропажа нашлась, что мой любимый ножичек с костяной ручкой и зеркальными лезвиями опять у меня в руках. Напротив, я скорее обрадовался бы, если бы он провалился сквозь землю, да, признаться, и самому мне в то мгновение хотелось провалиться сквозь землю.

Между тем обыск продолжался, и мне, прожившему на земле восемь лет, предстояло решить одну из самых трудных человеческих психологических задач.

Если я сейчас не признаюсь, что ножик нашелся, все для меня будет просто. Ну не нашли – и не нашли. Может, его кто-нибудь успел спрятать в щель, за обои, в какую-нибудь дырочку в полу. Хватает щелей в нашей старой школе. Но, значит, так и останется впечатление, что в нашем классе учился воришка. Может быть, каждый будет думать на своего товарища, на соседа по парте.

Если же я сейчас признаюсь... О, подумать об этом было ужасно!.. Значит, из-за меня понапрасну затеялась вся эта история, из-за меня каждого из этих мальчишек и девчонок унижительно обыскивали, подозревали в воровстве. Из-за меня их оскорбили, обидели, ранили. Из-за меня, в конце концов, сорвали уроки... Может быть, им все-таки легче думать, что их обыскивали не зря, что унизили не понапрасну?

Наверно, не так я все это для себя сознавал в то время. Но помню, что провалиться сквозь землю казалось мне самым легким, самым желанным из того, что предстояло пережить в ближайшие минуты.

Встать и произнести громко: «Ножичек нашелся», – я был не в силах. Язык отказывался подчиниться моему сознанию, или, может, сознание недостаточно четко и ясно приказывало языку. Потом мне рассказали, что я, как лунатик, вышел из-за парты и побрел к учительскому столу, вытянув руку вперед: на ладони вытянутой руки лежал ножичек.

– Растяпа! – закричал учитель (это было его любимое словечко, когда он сердился). – Что ты наделал!.. Вон из класса!.. Вон!

Потом я стоял около дверей школы. Мимо меня по одному выходили ученики. Почти каждый из них, проходя, задерживался на секунду и протяжно бросал:

– Эх ты!..

Не знаю почему, я не бежал домой, в дальний угол сада, где можно было бы в высокой траве отлежаться, отплакаться вдалеке от людей, где утихла бы боль горького столкновения неопытного мальчишечьего сердца с жизнью, только еще начинающейся.

Я упрямо стоял около дверей, пока мимо меня не прошел весь класс. Последним выходил Федор Петрович.

– Растяпа! – произнес он снова злым шепотом. – Ножичек у него украли... Эх ты!..

1963

Мститель

Вместо того чтобы сидеть на скучном уроке по арифметике, нам выпала удача копать картошку на школьном участке. Если вдуматься, копать картошку – чудесное занятие по сравнению с разными там умножениями чисел, когда нельзя ни громко высморкаться, ни поговорить с приятелем (кто кого повалит), ни свистнуть в пальцы.

Вот почему все мы, и мальчишки и девчонки, дурачились как могли, очутившись вместо унылого класса под чистым сентябрьским небом.

Денек стоял на редкость: тихий, теплый, сделанный из золотого с голубым, если не считать черной земли под ногами, на которую мы не обращали внимания, да на серебряные ниточки паутинок, летающих в золотисто-голубом.

Главное развлечение наше состояло в том, что на гибкий прут мы насаживали тяжелый шарик, слепленный из земли, и, размахнувшись прутом, бросали шарик – кто дальше. Эти шарики (а иной раз шла в дело и картошка) летают так высоко и далеко, что кто не видел, как они летают, тот не может себе представить. Иногда в синее небо взвивались сразу несколько шариков. Они перегоняли один другого, все уменьшаясь и уменьшаясь, так что нельзя было уследить, чей шарик забрался выше всех или шлепнулся дальше.

Я наклонился, чтобы слепить шарик потяжелее, как вдруг почувствовал сильный удар между лопаток. Мгновенно распрямившись и оглянувшись, я увидел, что по загону убегает от меня Витька Агафонов с толстым прутом в руке. Значит, вместо того чтобы бросить свой комок земли в небо, он подкрался ко мне сзади и ударил меня комком, насаженным на прут.

Многочисленные лучистые солнышки заструились у меня в глазах, а нижняя губа предательски задергалась, так бывало всегда, когда приходилось плакать. Не то чтобы нельзя было стерпеть боль. Насколько я помню, я никогда не плакал именно от физической боли. От нее можно кричать, орать, кататься по траве, чтобы было полегче, но не плакать. Зато легко навертывались слезы на мои глаза от самой маленькой обиды или несправедливости.

Ну за что он теперь меня ударил? Главное, тайком, подкрался сзади. Ничего плохого я ему не сделал. Наоборот, когда мальчишки не хотели принимать его в круговую лапту, я первый заступился, чтобы приняли. «Налюбака» мы с ним не дрались давным-давно. С тех пор как выяснилось, что я гораздо сильнее его, нас перестали стравливать. Что уж тут стравливать, когда все ясно! В последний раз мы дрались года два назад, пора бы об этом забыть. К тому же никто не держит обиды после драки «налюбака». «Любак» и есть «любак» – добровольная и порядочная драка.

Ни один человек на загоне не заметил маленького происшествия: по-прежнему все собирали картошку; наверное, небо по-прежнему было голубое, а солнышко красное. Но я уж не видел ни картошки, ни солнца, ни неба. В горле у меня стоял горький комок, на душе было черно от обиды и злости, а в голове зародилась мысль отомстить Витьке, да так, чтобы в другой раз было неповадно.

Вскоре созрел план мести. Через несколько дней, когда все позабудется, я как ни в чем не бывало позову Витьку в лес жечь теплинку. А там в лесу и набью морду. Просто и хорошо. То-то он испугается один в лесу, когда я скажу ему: «Ну что, попался на узенькой дорожке?» Нет, я сзади бить не буду, я ему дам прямо в нос. Или отплатить тем же? Раз он меня сзади, – значит, и я его сзади. Только он нагнется за сухим сучком, а я как тресну по уху, чтобы загудело по всей голове. Он обернется, тут-то я ему и скажу: «Ну что, попался на узенькой дорожке?» А потом уж и в нос...

В урочный день и час, на большой перемене, я подошел к Витьке. Затаенное коварство не так-то просто скрывать неопытному мальчишке. Казалось бы, что тут такого: пригласить сверстника в лес жечь теплинку? Обычно уговариваешься об этом мимоходом, никакого вол-

нения быть не может. На этот раз я волновался. Даже в горле стало сухо, отчего голос сделался глухой и вроде бы чей-то чужой. А руки пришлось спрятать в карманы, потому что они вдруг ни с того ни с сего задрожали. Витька посмотрел на меня подозрительно. Его оттопыренные уши, над которыми нависали соломенные волосенки, покраснели.

– Да уж... Я знаю, ты драться начнешь. Отплачивать.

– Что ты, я забыл давно! Просто пожжем теплинку. А то, если хочешь, палки будем обжигать, а потом разукрасим их. У меня ножичек острый, вчера кузнец наточил...



Между тем положение мое осложнилось. Одно дело – нечаянно заманить в лес и там стукнуть по уху: небось знает кошка, чье мясо съела, а другое дело – весь этот разговор. Если бы Витька отнекивался, отказывался, а потом нехотя пошел, было бы куда все проще. А после моих слов он улыбнулся от уха до уха (рот у него такой, как раз от уха до уха) и радостно согласился:

– Ну ладно, тогда пойдем.

«Вот я тебе покажу «пойдем»!» – подумал я про себя.

Пока шли до горы, я всю дорогу старался вспомнить, как он ни за что ни про что ударил меня промежду лопаток, и как мне было больно, и как мне было обидно, и как я твердо решил ему отплатить. Я так все точно и живо вообразил, что спина опять заболела, как и тогда, и в горле опять остановился горький комок, и даже нижняя губа вроде бы начала подрагивать, – значит, я накалился и готов к отмщению.

На горе, где начались маленькие елочки, выпал удачный момент: как раз Витька, шедший впереди меня, наклонился, что-то рассматривая на земле, а ухо его словно бы еще больше оттопырилось, так и просило, чтобы я по нему стукнул что есть силы.

– Смотри, смотри! – закричал Витька, показывая на круглую норку, уходящую в землю. Его глаза горели от возбуждения. – Шмель оттуда вылетел, я сам видел. Давай раскопаем? Может быть, там меду полно.

«Ну ладно, эту норку мы раскопаем, – решил я, – потом уж я с тобой разделаюсь!»

– Надо вырезать острые лопаточки, а ими и копать землю. Нож-то захватил?

Живо-два мы вытесали себе по отличной лопаточке и стали рыть. Дерн тут был такой плотный, что мы сломали по одной лопаточке, потом вырезали новые, а потом уж добрались до мягкой земли. Однако никакого меда или даже шмелиного гнезда в норке не оказалось. Может быть, когда-нибудь здесь вправду водились шмели, только не теперь. А зачем лазил туда шмель, которого увидел Витька, так мы и не узнали.

На опушке леса в траве мы тотчас наткнулись на стаю рыжиков. Опять наткнулся Витька, недаром у него глазищи по чайному блюдечку.

Крепкие, красные, боровые, росли грибы в зеленой траве. И хоть целый день грело солнце, они все равно были холодные, как лягушки. В большом рыжике в середине стояла чистая водичка, как все равно нарочно налили для красоты. Поджарить бы на прутике, да жаль, соли нет. Вот бы славно поели!

– Айда за солью! – предложил Витька. – Далеко ли овраг перебежать. Хорошо бы заодно по яичку у матери стащить.

«Айда за солью! – думал я, лелея по-прежнему свой злодейский замысел. – Только не думай, что все так и кончится. Когда сбегает за солью, я тебя обязательно прищучу в лесу, ты от меня не уйдешь».

Мы принесли соль и два куриных яйца.

– Теперь давай ямку копать.

В ямку мы положили яйца, засыпали их землей и на этом месте стали разводить теплинку. От огня земля нагреется, яйца в ней превосходно испекутся. Останется только поддержать их в золе около горячих углей, чтобы немного пропахли дымком для вкуса.

Сначала мы зажгли небольшую сосновую веточку, пушистую, но высохшую, с красными иголками. Она вспыхнула от одной спички и горела так, словно гореть для нее большая радость, то есть даже ничего нет на свете лучше, чем сгореть в нашей теплинке. Она вроде бы даже не горела, а плясала, как девчонка в ярко-красном платьице. (Если вдуматься, Витька этот не такой плохой мальчишка, и в лесу с ним интересно, только вот зачем он тогда меня треснул промежду лопаток? Теперь придется ждать, когда кончим жечь теплинку.)

На горящую сосновую ветку мы стали класть тонкие сухие палочки. Мы их клали сначала колодцем, крест-накрест, потом стали класть шалашиком. Постепенно пошли палочки потолще, еще потолще, и теплинка наша разгоралась ровным, сильным огнем. Она хотя и была небольшая, но сразу видно, что не скоро погаснет, если даже не подкладывать в нее дров.

Тут мы принялись за рыжики. Когда Витька насаживал на прутик свой первый рыжик, мне так и вспомнился тяжелый земляной катыш, которым он меня тогда огрел, и я подумал, не сейчас ли мне с ним расправиться, но решил, что всегда успеется, и стал насаживать свой рыжик. Рыжики шипели в огне, соль на них плавилась и вскипала пузырьками, даже что-то с шипением капало в костер – не то соль, не то грибной сок. А кончики прутьев дымились и обугливались. Мы съели все рыжики, но нам хотелось еще – так они были вкусны и душисты. Да и соль оставалась, не выбрасывать же ее! Пришлось снова идти по грибы.

Когда мы раскапывали яйца, из земли шел пар – настолько она прогрелась и пропарилась. Надо ли говорить, что яйца упеклись на славу. Мы съели с ними остатки соли. Никогда я не ел яиц вкуснее этих. (Конечно, это Витька придумал печь яйца. Всегда он что-нибудь придумает, даром что уши торчат в разные стороны.)

Ну что же, вот и теплинка прогорела, сейчас пойдем домой, и тут я буду должен... Что бы еще такое придумать, очень не хочется сразу идти домой.

– Бежим на речку, – говорю я Витьке. – Помоемся там, а то вон как перемазались. Водички попьем холодненькой. Бежим?

Все под руками у нас в деревне: лесок так лесок, речка так речка. Мы по колено заходим в светлую текучую воду, которая очень холодна теперь, в конце сентября, наклоняемся над водой и пьем ее большими вкусными глотками. Разве можно воду из колодца или самоварного крана

сравнивать с этой прекрасной водой! Сквозь воду видно речное дно – камушки, травинки, песочек. Травинки стелются по дну и постоянно шевелятся, как живые.

Ну вот и попили и умылись. Делать больше нечего, надо идти домой. Под ложечкой у меня начинает ныть и сосать. Витька доверчиво идет вперед. Его уши торчат в разные стороны: что стоит развернуться и стукнуть!

Что стоит? А вот попробуй, и окажется, что это очень непросто – ударить человека, который доверчиво идет впереди тебя.

Да и злости я уже не слышу в себе. Так хорошо на душе после этой теплинки, после этой речки! Да и Витька, в сущности, неплохой мальчишка – вечно он что-нибудь придумает. Придумал вот яйца стащить...

Ладно! Если он еще раз стукнет меня промежду лопаток, тогда-то уж я ему не спущу! А теперь – ладно.

Мне делается легко от принятого решения не бить Витьку. И мы заходим в село как лучшие дружки-приятели.

1961

Подворотня

Всю ночь мне снились золотые соломенные пояски. Это, наверное, потому, что вечером я помогал матери их скручивать. Мы крутили их на зеленой лужайке около пруда. Ведь если солому помочить в прудовой воде, она делается мягче, лучше свивается в поясок.

Я знал, что утром мать пойдет в поле жать рожь. За ней среди высоченной частой ржи будет оставаться ровная соломенная щетка. Местами среди желтой соломенной щетки зеленеет живой, по сравнению с созревшей соломой, колючий жабрей.

На желтую соломенную щетку, на зеленый жабрей будет мать класть длинные гибкие пряди ржи, пока не наберется их столько, что можно связать в сноп. Тут-то и пригодится поясок, скрученный нами вчера на берегу пруда на лужайке. Всю ночь мне снились золотые соломенные пояски, лежащие на зеленой траве. К тому же мне очень хотелось с матерью на жнитво, и я боялся, чтобы не проспять, чтобы она не ушла без меня. Кто тогда вовремя подаст ей поясок, кто тогда с радостью укроется в тень от самого первого поставленного среди жнивья снопа, кто принесет ей бутылку с квасом, спрятанную у межи в прохладной густой траве!

Но детский мой организмишко не успел отдохнуть к нужному часу. Ни рука, ни нога не хотели шевелиться. Глаза – как все равно намазаны самым надежным, крепким клеем, а по всему телу – тяжелая сладкая истома. Такая сладкая, что ничего уж на свете не может быть слаще ее, ибо она есть желание сна.

Мать пожалела меня и сказала, перекрестив:

– Ну спи, Бог с тобой, я тебя запру снаружи. А когда ты выспишься и встанешь, первым делом умойся, потом выпей молоко, что стоит на столе. Лепешка будет лежать рядом. А потом, если хочешь, сиди дома или приходи ко мне. Дорожку ты знаешь. А на улицу ты вылезешь через подворотню: калитку-то я снаружи замкну, значит, ты через подворотню. Там хоть и нешироко, ну да ты у меня ловкий, ты у меня обязательно вылезешь.

Тут все закачалось вокруг меня, и я уснул крепче прежнего. Проснулся я уже не в полутемной, а в солнечной, яркой избе. По выскобленным половицам, по желтым, как смола, бревенчатым стенам, по струганым лавкам, по скатерти, пусть застиранной, но все еще белой, по печке, недавно побеленной с добавлением синьки, по разноцветной дорожке на полу – повсюду разлилось солнце. И не какое-нибудь там слабосильное, но солнце самого разгара лета, солнце жнитва.

Уж одно ощущение того, что выспался, есть наслаждение жизнью. Каждая клеточка налита до отказа жаждой жить, каждый мускул просит движения. Ко всему этому еще солнце, еще чистые теплые доски под босой ногой, еще свежая вода в рукомойнике, а значит, и на моих щеках, глазах, губах. Ко всему этому еще свежее молоко в крынке и мягкая пшеничная лепешка.

Я бессознательно (а не то чтобы думать о клеточках своего организма) наслаждался всем этим, и было у меня смутное ощущение чего-то очень интересного и хорошего, что ждет меня впереди, сейчас, вот-вот, может, даже в следующую минуту. Сначала я никак не мог вспомнить и понять. Но потом вдруг вспомнил: мне ведь предстоит выйти на улицу не каким-нибудь там обычным путем, а через подворотню. Значит, не только взрослым доступно инстинктивное, может быть, стремление оттягивать немедленное осуществление того, что в воображении кажется истинным и верным счастьем.

Я сначала вылил остатки молока в кошачью лаку гику, поманил кошку из сеней, и та сразу прибежала на зов. Тогда я решил, что раз кошка гуляла на улице, значит, пусть она съест молоко, и я опять выпущу ее за дверь. Присев на корточки, я долго наблюдал, как ловко она розовым язычком лакает белое-белое молоко. Наконец она выпила все, облизнулась, широко раскрыла пасть с острыми белыми зубами и принялась умываться.

Я привязал к нитке бумажный бантик и пытался поиграть с кошкой, как делал прошлый год, когда она была еще маленьким котенком. Однако теперь кошка не захотела носиться по избе за шуршащей бумажкой. Правда, она постреляла за ней справа налево загоревшимися вдруг глазами, резко поворачивая голову, но дальше этого дело не пошло.

И давая кошке молоко, и играя с ней бумажным бантиком, я не переставал думать о том, что ждет меня на улице. Во-первых – солнце, во-вторых – трава, в-третьих – земля под босой ногой. Побегу к матери в поле. Это очень близко, сразу за молотильным сараем. Или нет – сначала найду красивый черепок, или нет – сначала погоняю вокруг церкви железное колесо на проволоке. Вокруг церкви у нас все замощено речным камнем. Значит, колесо, когда его быстро катишь, высоко подпрыгивает и на разные голоса звенит.

Итак, была изба, и была улица. И все это было мое. А между ними, как самое главное, как самое радостное для этого дня, была подворотня, сквозь которую мне предстояло пролезть.

Бегом промчался я сквозь полутемные сени, выскочил на двор – и остолбенел. Ворота были широко открыты, и дедушка подметал возле них. Он подметал истоиво, вершок за вершком, мусоринку за мусоринкой, благо торопиться ему было некуда, подметай хоть до вечера.

– Дедушка, закрой ворота, мне нужно вылезти на улицу.

Дедушка не понял всей тонкости моей просьбы, а понял только, что «на улицу», поэтому сказал:

– Ступай, я тебя не держу.

– Нет, ты закрой ворота.

– Зачем же их закрывать, если ты хочешь на улицу? Вот она, улица, ступай.

– Нет, ты закрой ворота!..

Тут уж терпения моего больше не хватило, и я горько-прегорько заревел.

– Чего ты плачешь? Кто тебя обидел? – растерялся дедушка.

– Никто... Закрой ворота... Я хочу на улицу.

Так ничего и не поняв, но видя, что я не перестану плакать, пока ворота не будут закрыты, дедушка запахнул сначала одну, потом другую широкую воротину. Со скрипом они сошлись одна с другой, сразу загородив и траву, и солнце, и колодезь, и улицу нашего села с ветлами по сторонам.

– Запри их на запор, – сквозь продолжавшийся рев потребовал я от дедушки.

Дедушка (странно, что при его нраве он все еще медлил распоясывать свой крученный веревочный пояс), кряхтя, просунул в железные скобы тяжелый, гладкий от времени квадратный брус.

– Ну, что тебе еще?

Мне ничего больше было не нужно. Теперь мне оставалось осуществить то, что целое утро казалось таким заманчивым и интересным. Мне оставалось теперь лечь на живот и пролезть в подворотню из прохладного, темноватого двора на зеленую, золотистую улицу.

Но вот беда, отчего-то расхотелось лезть в подворотню. Это вовсе даже неинтересно – лезть в подворотню, если ворота широко распахнуты, это неинтересно даже тогда, когда их нарочно закроют и даже нарочно запрут для того, чтобы пролезть в подворотню.

Я почувствовал себя глубоко несчастным, глубоко обиженным человеком и заревел еще громче.

Дедушка неторопливо начал развязывать свой крученный веревочный поясок...

Белая трава

Есть на нашей реке такие глухие и укромные места, что, когда продерешься через спутанные лесные заросли, заполненные к тому же крапивой, и присядешь около самой воды, почувствуешь себя как бы в обособленном, отгороженном от остального земного пространства мире. На самый грубый, поверхностный взгляд, мир этот состоит только из двух частей: из зелени и воды. Но и в воде отражается все та же сплошная зелень.

Будем теперь по капелькам увеличивать наше внимание. При этом почти одновременно с водой и зеленью увидим, что, как ни узка речка, как ни густо сплелись над ее руслом ветки, все же и небо принимает не последнее участие в сотворении нашего маленького мира. Оно то серое, когда еще самый ранний рассвет, то серо-розовое, то ярко-красное – перед торжественным выходом солнца, то золотое, то золотисто-синее и, наконец, голубое, как и полагается ему быть в разгаре ясного летнего дня.

В следующую долю внимания мы уже различим, что то, что казалось нам просто зеленью, вовсе не просто зелень, а нечто подробное и сложное. И в самом деле, натянуть бы около воды ровную зеленую парусину, то-то была дивная красота, то-то восклицали бы мы: «Земная благодать!» – глядя на ровную зеленую парусину.



Висит над водой старая, черная, как уголь, коряга. Отзвенела, отшумела свое. Отдрожала дождевыми каплями на весенних листьях, отсорила в воду ярко-желтыми глянцевыми листочками. Угольное отражение ее четко лежит на воде, перерываясь лишь в тех местах, где попадает на округлые листья кувшинок. Зелень этих листьев не может не совпадать, не сливаться с отраженной вокруг лесной зеленью. У черемух выросли до своей величины будущие ягоды. Теперь они гладкие, жесткие, как все равно вырезаны из зеленой кости и отполированы. Листья ракиты повернуты то своей ярко-зеленой, то обратной, матовой, серебряной стороной, отчего все дерево, вся его крона, все, так сказать, пятно в общей картине кажется светлым. У кромки воды растут, наклонясь в сторону, травы. Кажется даже, что дальние травы привстают на цыпочки, тянутся изо всех сил, чтобы обязательно, хотя бы из-за плеч, поглядеть в воду. Тут и крапива, тут и высоченные зонтичные, названия которым здесь у нас никто не знает.

Но всех больше украшает наш замкнутый земной мирок некое высокое растение с пышными белыми цветами. То есть каждый цветок в отдельности очень мал и был бы вовсе не заметен, но собрались цветы на стебле в бесчисленном множестве и образуют пышную, белую, слегка желтоватую шапку. А так как стебли этого растения никогда не растут поодиночке, то пышные шапки сливаются и вот уже как бы белое облако дремлет среди неподвижной лесной травы. Еще и потому невозможно не залюбоваться этим растением, что едва лишь пригреет

солнце, как от белого цветочного облака поплывут во все стороны незримые клубы, незримые облака крепкого медвяного аромата.

Вообще-то говоря, сидя с удочкой, ни о чем больше не думаешь, как только о клеве, о поплавке, если можно назвать думанием сосредоточенное напряженное ожидание хотя бы легкого шевеления. Страстный рыболов Антон Павлович Чехов не так уж прав, говоря, что во время ужения приходят в голову светлые, хорошие мысли. Ничуть не бывало! Последние жалкие обрывки деваются неизвестно куда.

Глядя на белые пышные груды цветов, я часто думал о нелепости положения. Я вырос на этой реке, чему-то меня учили в школе. Цветы эти я вижу каждый раз, и не просто вижу, а выделяю из всех остальных цветов. А вот спроси меня, как они называются, – не знаю, почему-то ни разу не слышал их названия и от других, тоже здесь выросших людей. Одуванчик, ромашка, василек, подорожник, колокольчик, ландыш – на это нас еще хватает. Эти растения мы еще можем называть по именам. Впрочем, зачем же сразу обобщать, – может быть, один лишь я и не знаю? Нет, кого бы я ни расспрашивал в селе, показывая белые цветы, все разводили руками:

– Кто их знает! Полно их растет: и на реке, и в лесных оврагах. А как называются?.. Да тебе на что? Цветы и цветы, их ведь не жать, не молотить, не на господавки сдавать. Нюхать и без названия можно.

Мы вообще-то, я бы сказал, немного равнодушны ко всему, что окружает нас на земле. Нет, нет, конечно, мы часто говорим, что любим природу: эти перелески, и холмы, и рощи, и огневые, на полнеба, летние теплые закаты. Ну и, конечно, собрать букет цветов, ну и, конечно, прислушаться к пению птиц, к их щебетанию в золотых лесных верхах в то время, когда сам лес еще полон темно-зеленой, черной почти прохлады. Ну и сходить по грибы, ну и поудить рыбу, да и просто полежать на траве, глядя вверх на плывущие облака.

«Послушай, а как называется трава, на которой ты теперь так бездумно и так блаженно лежишь?» – «То есть как это как? Трава. Ну там... какой-нибудь пырей или одуванчик». – «Какой же тут пырей? Тут вовсе нет никакого пырея. Всмотрись повнимательнее. На месте, которое ты занял своим телом, растет десятка два разнообразных трав, и ведь каждая из них чем-нибудь интересна: то ли образом жизни, то ли целебными для человека свойствами. Впрочем, это уж вроде как бы непостижимая для нашего ума тонкость. Пусть об этом знают хотя бы специалисты. Но названия, конечно, не мешало бы знать».

Из двухсот пятидесяти видов грибов, что растут повсеместно в наших лесах, начиная с апреля и кончая заморозками (кстати, почти все виды съедобны, исключая лишь несколько видов), мы знаем «в лицо» и по названиям едва ли четвертую часть. Про птиц не говорю. Кто мне подтвердит, которая из этих двух птиц малиновка-пересмешница, которая крапивница, а которая мухоловка-пеструшка? Кто-нибудь, конечно, подтвердит, но каждый ли? Но каждый ли третий, но каждый ли пятый – вот вопрос!

...Встретившись в Москве с моим другом и земляком из соседнего села Сашей Косицыным, мы начинаем вспоминать наш лес Журавлиху, нашу речушку Борщу, наш Долгий омут, затерявшийся в Журавлихе.

– Больше всего я люблю в Журавлихе запахи, – зажмуриваясь от блаженства, вспоминает Саша Косицын. – Нигде, ни на одной реке, ни в одном лесу я не встречал таких запахов! Нельзя сказать в отдельности, что пахнет крапивой, или мятой, или вот этой... как ее?.. Ну, знаешь, такая белая трава... пышная, ну ты знаешь...

– Знаю, о чем ты говоришь, но я сам сто раз собирался спросить у тебя, как называется эта трава. А ты, оказывается, забыл.

– Ну знал, да забыл, – рассмеялся Саша. – Вообще-то не мешало бы выяснить. Ты бы спросил в деревне у местных жителей, скажут.

– Разве я не спрашивал? Много раз!..

– Я придумал: надо будет спросить у моего отца. Он лесником четыре года работал, он все знает. Их, лесников, даже заставляют собирать семена деревьев и растений. Он книги на эту тему читал. И по этой части знает все досконально. А уж эту траву – и говорить нечего. Вокруг сторожки, где мы жили, ее целые плантации.

Как-то так получилось, что летом, когда мы с Сашей встречались в деревне и его отец, знающий все досконально, бывал поблизости, а часто даже и сидел с нами за одним столом, мы забывали про нашу душистую траву. Вспоминали же о ней снова зимой в Москве: начинали сожалеть, что вот была возможность узнать – забыли. На будущий год непременно надо спросить у бывшего лесника. Наше нетерпение обострилось в такой степени, что хотелось скорее написать письмо.

Но вспоминали мы о белой траве обыкновенно поздним вечером, не дома, а в гостях, во время ужина, а то и вовсе в ресторане, когда на нас находили особенно лирические мгновения и мы особенно ярко вспоминали о Журавлихе и Ворще. Только этим и можно объяснить, почему мы в течение трех лет не отправили ни письма, ни телеграммы. Однажды наконец-то совпали все желаемые условия: мы были с Сашей вместе. Павел Иванович сидел рядом, и мы вспомнили про нашу загадочную белую траву.

– Так-так-так, – энергично поддакивал нам Павел Иванович. – Ну как же! Неужели я не знаю эту траву?! У нее еще стебли пустые. Бывало, надо напиться, а родничок в глубокой промоине. Сейчас срежешь стебель метровой длины да через него и напьешься. А листья у нее немножко на малинные похожи. А цветы белые да пышные. А уж пахнут!.. Бывало, сидишь на реке с удочкой, за сто шагов – аромат. Ну как же, неужели не знаю я эту траву?! Да что ты, Саша, неужели не помнишь, сколько ее возле нашей сторожки росло по тому берегу реки, хоть заготовляй!

– Ну так не тяни душу, говори, как она называется.

– Бела трава.

– Мы знаем, что она белая; но вот название?..

– Какое вам еще название? Я, например, так ее постоянно зову: бела трава. Да и все у нас так зовут.

Мы с Сашей рассмеялись, хотя причина нашего смеха, я так думаю, была совсем непонятна для бывшего человека Павла Ивановича. Бела трава – и вдруг смешно! Попробуй догадайся, над чем тут смеются.

1961

Летний паводок

Каждый день перепрыскивали дожди. В конце концов земля так напиталась водой, что не брала в себя больше ни капли влаги. Вот почему, когда образовалась в небе широкая, темная прореха и оттуда хлынула обильная, по-летнему теплая вода, наша тихая, мирная речка сразу начала вздуться и пухнуть. По каждому оврагу, по каждой канаве наперегонки, перепрыгивая через корни деревьев, через камни, мчались ручьи, словно у них была единственная задача – как можно быстрее домчаться до речки и принять посильное участие в ее разгуле.

Дождь стегал веревками по спинам ручьев и потоков, подхлестывая их. Чем сильнее, звучнее стегал дождь, тем азартнее, тем проворнее мчались бесчисленные потоки.

Над самой землей, так примерно на полметра, стоял седой дым. Крупные капли дождя разбивались о землю, превращаясь в пыль и мельчайшие брызги. Точно такой же седой дым виднелся над каждой кровлей. Повсюду, уверенно наполнив окрестности, устойчиво держался ровный напряженный шум. Время от времени резко и оглушительно ударял гром. Было странно слышать его, потому что все небо было серое и ровное, ненастное, а не грозное, когда черная синева, ветер и люди знают, что это сейчас пройдет.

Дождь лил в безветрии, из однотонного, студенистого неба. Казалось, не будет теперь ему ни конца ни края. Меньше всего можно было ждать ударов грома, тем не менее удары были, и каждый удар, как бичом, подхлестывал и без того взбесившийся дождь.

Шум стоял всю ночь. К утру стало тихо. Только обильно капало с деревьев, а если очень чутко прислушаться, то и с трав.

Дождь прошел, а у реки начиналось самое гулянье. Никогда, при самом дружном таянии самых глубоких снегов, не было на нашей реке такого разлива, такого водополья, как теперь.

Река немедленно сорвала и унесла с собой все лавы, подняла все, что лежало на ее летних, казавшихся безопасными берегах: дрова так дрова, бревна так бревна, копны сена так копны сена, мусор так мусор. Выйдя из берегов, она залила где луга, а где и поле зеленого овса, золотой уже ржи, белой цветущей гречихи. В деревушках, что стоят пониже, она подобралась к огородам.

В Останихе у реки притулились на берегу бани, этакие покосившиеся избышки на курьих ножках. Теперь над водой оставались только крыши этих бань, и все ждали, что вот-вот их приподнимет и понесет.

Но все же речка наша слишком мала, чтобы даже в такое половодье всерьез навредить людям. Допустим, разыграется в избе котенок: ну, сорвет занавеску, ну, разобьет стакан или вазу, ну, что еще он может набедокурить? Все-таки котенок, а не слон, не медведь и не тигр.

Напротив, всем было интересно поглядеть на такую необыкновенную для наших мест воду. Одни говорили: «Вот бы всегда у нас была такая река!» Старики вспоминали, когда – пятьдесят или семьдесят лет назад! – они видели такую воду. Богомольные старушки причитали: «Одну ночь лил, а что сотворилось! А если бы сорок дней и сорок ночей – вот и был бы потоп. Погодите еще, разверзнутся хляби небесные!..» Мальчишки бегали возле самой воды и глядели, как комбайнер Анатолий Ламанов шарит наметкой в надежде поймать голавля или щуку.

Я пошел вдоль по берегу, не думая ни о чем, любуясь воистину необыкновенным зрелищем.

Высокие ольховые кусты теперь выглядывали одними макушками. Видно было, как вода пригибает кусты в одну сторону по своему течению, а они пружинят, стараются выпрямиться, пользуясь малейшим послаблением мутных струй, и оттого беспрерывно кланяются как заведенные.

Старую ветлу затопило по самую крону. По ее ветвям сновали, тревожно и жалобно крича, разнообразные пичужки. Наверное, немало уютных обжитых гнезд (по времени так и с птенцами) залило этой водой.

В одном месте я остановился, засмотревшись на завертину. Вода в этом месте ударялась о загнутый берег, ходила кругами. По краю завертины движение воды было медленное, как бы ленивое, но ближе к середине оно все убыстрялось и убыстрялось, образуя наконец водяную вертящуюся яму, в которую неудержимо тянуло все, что проплывало мимо: солому, сено, щепки и даже пузыри, рождающиеся там, где вода расчесывалась ветвями затопленных деревьев.

До моего слуха стал доноситься однообразный слабенький писк, настолько слабенький, что сначала я хоть и слышал его, но как-то не обращал внимания, как-то он не мог «допиться» до меня. Может быть, спутывался сначала с писком и щебетанием птиц, а потом уж и выделился, чтобы завладеть вниманием.

Я прислушался и понял, что пищит не одно существо, а несколько, и где-то очень близко, чуть ли не у моих ног.

Сделав несколько шагов по берегу, я прислушался еще раз и тут увидел у носка моего, самому мне показавшегося огромным, резинового сапога крохотную ямочку, оставленную некогда коровьим копытом. В ямке, сбившись в клубочек, барахтались крохотные существа, беспомощные, как все детеныши.

Детеныши были величиной со взрослых мышей или, лучше сказать, с кротов, потому что больше походили на них окраской своих мокреньких шубок. Их копошилось там штук шесть, причем каждый старался занять верх, так что они вслепую все время перемешивались клубочком, попирая и топча наиболее слабеньких.

Ямка находилась как раз на границе земли и воды. Но вода продолжала неумолимо подниматься. Она скопилась холодной лужицей на дне убежища, где два слепеньких существа лежали, не двигаясь, то ли захлебнувшись, то ли их затоптали в слепой борьбе за существование их же «братишки» и «сестренки».

Мне захотелось узнать, чьи это детеныши, и я стал оглядываться. Из-за верхушки ольхи, судорожно, непрерывно загребая лапками, чтобы удержаться на одном месте (течение сносило ее), глядела на меня своими черными бусинками выхухоль. Встретившись со мной глазами, она быстро, испуганно поплыла в сторону, но невидимая связь с коровьим копытцем держала ее, как на нитке. Поэтому поплыла выхухоль не вдаль, а по кругу. Она вернулась к ольховому кусту и снова стала глядеть на меня, без устали гребя на одном месте.

Копытце при нормальной высоте было далеко от берега. Значит, можно было предположить, что мать, когда вода хлынула в нору, сумела перетащить детенышей на сухое высокое место. Скорее всего, копытце было не первым убежищем. Но все предыдущие тоже заливало водой, как залило теплую нору, как зальет через четверть часа и это студеное, с лужицей на дне копытце.

Выхухоль держалась на воде метрах в двух от меня, что невероятно для этого крайне осторожного, крайне пугливого зверька. Это был героизм, это было самопожертвование матери, но иначе не могло и быть: ведь детеныши кричали так тревожно и так призывно!

Я наконец ушел, чтобы не мешать матери делать свое извечное дело – спасать своих детей. Может быть, она перетащит их еще на новое место, и хоть снова начинается дождь и в конце концов вряд ли ее детеныши выйдут целыми из этой передраги, как уж не вышли те двое, что лежат на дне ямки, – живой думает о живом.

Я направился домой. Поддавшись невольной сентиментальности, я думал о том, что у меня тоже есть дети. Я старался вообразить бедствие, которое по масштабу, по неожиданности, по разгулу и ужасу было бы для нас, как этот паводок для бедной семьи зверушек, когда пришлось бы точно так же тащить детей в одно, в другое, в третье место, а они гибли бы в пути

от холода и от борьбы за существование, и кричали бы, и звали бы меня, а я не имел бы возможности к ним приблизиться. Перебрав все, что подсказывало воображение, я остановился на самом страшном человеческом бедствии. Название ему – война.

Дождь усиливался с минуты на минуту, он больно сек меня по лицу и рукам. На землю спустилась черная, ненастная ночь. В реке по-прежнему прибывала вода.

В небе, выше дождя, превыше ночной темноты, так, что едва доносился звук, неизвестно куда и неизвестно откуда летели машины, созданные из огня и металла.

Если бы они и могли теперь взглянуть со своей высоты на землю и на меня, идущего по ней, то я им показался бы куда мельче, куда микроскопичнее, чем полчаса назад казались мне слепые, озябшие детеныши выхухоли, лежащие на самом краю земли и стихии.

1961

Закон набата

Я вскочил на ноги рывком, с трудом, вполне безотчетно преодолевая чугунную тяжесть сна.

В селе звонил набат. Не тот набат, который висел, бывало, на колокольне – двадцать девять пудов двенадцать фунтов. Тот и мертвого поднял бы, не то что спящего.

Когда сбрасывали, разбивали и в разбитом виде увозили от нас колокола, оставили все же в селе один маленький колокольчик из того набора колокольчиков, в которые Сергей Бакланихин ловко вырезвонивал камаринскую.

Счастливый колокольчик повесили на столб около пожарницы. Он-то и кричал теперь жалостным голосом, подражая тому, настоящему, покойному набату.

Одевался я торопливо, не попадая в перепутавшиеся штанины. А сам все глядел на окна: не краснеют ли стекла, не проступают ли на них, не трепещут ли отблески близкого пожара?

Сообразив еще, что на улице (при непроглядной темноте) жидкая грязь, лужи и трава, залитая вечерним дождем, я выскочил в сандалиях на босу ногу.

В конце села перекликались люди:

– Кто звонил?

– Горит!

– Малый Олепинец.

Набат зазвонил увереннее, тревожнее, тверже: старенькую сторожиху тетю Полю сменил кто-нибудь из подбежавших мужчин.

– За Грыбовых бегите!

– Малый Олепинец горит...

В темноте там и тут слышалось громкое чавканье сапог – по раскисшей грязи бежали люди.

Пробегая мимо столба с колокольчиком (на время перестали звонить), я услышал запыхавшиеся и как бы даже восторженные слова сторожихи:

– Гляжу, вроде деревья на небе проступили. Я на зады. Батюшки мои светы – зарево над Олепинец! Что делать? В колокол. Руки трясутся. Не выходит по-набатному-то.

«По-набатному» мне привелось слышать несколько раз в детстве. С тех пор и запомнилось, что ничего уж не может быть тревожнее и страшнее, чем по-настоящему, по-набатному. Правда, случаи оказывались все больше безобидные, – например, тревога.

Начинал бить набат, выбегали люди, село наполнялось криками, как при настоящем пожаре (старушки, пока опомнятся, успеют поголосить!), пожарная дружина, составленная из отборных мужиков, начинала действовать.

В поводу гнали лошадей к пожарному сараю. Из широких ворот по бревенчатому настилу выкатывали за оглоблю телегу с пожарной машиной, бочку для воды (тоже устроенную на оглоблях), разбирали багры, топоры, лопаты.

Объявлялось, что «горят» Черновы. Вся пожарная оснастка переправлялась к Чернову дому. Раскатывали брезентовые рукава к пруду или к колодцу. В своем селе на руках, не теряя времени на запряжание лошадей, катили телеги с пожарными машинами. Проверка не кончалась на том, чтобы просто подбежать к «горящему» дому. Время замечалось по первой струе, направленной на крышу и на стены: честь для пожарной дружины, если вода польется через семь минут после того, как разнесся голос набата.

В жаркую погоду брандспойтчик вильнет струей на толпу, в особенности на баб и мальчишек. Тревога, с ее неизбежным ударом по нервам людей, раздражалась визгом, смехом, весельем. Все переходило на шутку.

Эти своеобразные «маневры» проводились раз по пять за лето, так что все было отработано в тонкости, в любую минуту было начеку. Правда, и пожары случались чаще.

Позже, перед самым снятием колоколов, когда стали уж нарушаться в селе веками сложившиеся патриархальные порядки, кто-то подговорил Витьку Гафонова понарошку ударить в набат, и он ударил.

Мужики и бабы побросали косы и серпы (стояло жнитво), полумертвые прибежали в село, кое-кто от самого Самойловского леса.

Велик и непреложен закон набата: старый ли ты, усталый ли, занятой ли ты человек – бросай все и беги на зовущий голос.

Этот голос всегда означал только одно: другим людям нужна твоя немедленная, безотлагательная помощь. И бегут с топорами, с лопатами, с ведрами. Кое-кто с вилами – на всякий случай. Неизвестно, что за беда. Не ровен час, пригодятся и вилы.

И поднимается в тебе (несмотря на беду) некое восторженное чувство, что ты не один, что, случись у тебя беда, и для тебя точно так же побегут люди, потому что непреложен и велик закон набата.

Вот и теперь я бегу вроде бы один в темноте, но слышу то справа, то слева тяжелый топот и шумное дыхание. Значит, еще бегут мужики. Бегут направо, не выбирая дорог и в грязи и мраке.

Я успеваю подумать, спросить себя, почему все мы бежим не к пожарнице, а за Грибовых, на зады. Не любоваться же пожаром повскакали мы все с постелей. Ну, да это вот почему. Оленинец близко, какой-нибудь километр за оврагом и буграми – добежим. А около пожарницы хлопчут, наверно, другие люди – дружина. Они небось знают свое дело.

За околицей на луговине собрались в одно место все бежавшие. Не очень-то много народу осталось в селе, мало собралось и здесь. Пять-шесть мужиков, а то все больше бабенки.

Все глядим туда, где в непроглядной разбойничьей черноте мокрой осенней ночи за черным далеким бугром, безмолвное, темно-красное, стоит зарево.

Было это похоже, как если бы на черной линии земли лежал раскаленный уголек, временами кто-то дует на него, отчего зарево странно пульсирует, в стороны и кверху.



Иногда желтое сердцевидное пятнышко зарева раскаляется до белизны. В эти секунды краснота растекается еще дальше во все стороны, особенно кверху, подсвечивая нижние, черные лохмотья набрякших осенних облаков.

– Ишь ты, как выбрасывает! – говорят в это время в толпе.

– Сказали, Олепинец. Да рази это Олепинец? Олепинец вон он, за бугром. Если бы Олепинец горел, тут бы не то что... и у нас бы светло было. А это вот что горит... Я вам сейчас скажу... Это горит Волково.

– Полно не дело-то говорить! Волково много правее. А это, я так думаю, Некрасиха.

– Нет, мужики, скорее всего Пасынково.

– Наверно, клеверный стог либо солома.

– Тут не соломой пахнет. Солома полыхнет – и нет.

– Да. Пока тетя Поля увидела, пока бежала до колокола, пока все мы прибежали... Почитай, уж больше часа полыхает. Разве это солома? И не слабеет нисколько.

Некоторое время мы смотрим, как пульсирует красное пятно с желтой точкой посередине – единственное светлое пятнышко величиной с копейку в беспредельной осенней черноте.

– А ведь, пожалуй, и правда Некрасиха, – возобновляется ленивый, раздумчивый разговор.

– А сказали – Олепинец. Да Олепинец-то вот он, за бугром. Если бы горел Олепинец...

– А может, это... того, мужики... съездить?

– Съездить можно. Почему не съездить? Да ведь пожарница закрыта. Пожарник в Прокошихе.

Тут и до меня дошла вдруг вся нелепость положения.

– Как так в Прокошихе? – спросил я, обращаясь не к кому-нибудь в отдельности, а ко всем вместе.

– Очень просто. Василий Барсуков теперь пожарник. Живет в Прокошихе. До нее два с половиной километра. Пока добежишь, да пока он прибежит...

– А если в своем селе пожар?

– И в своем. Все одно и то же. Недавно у Виктора в избе загорелось. Хорошо ведрами успели залить. Потом уж и машину привезли, а она не качает!

– Как так не качает?

– Очень просто – испортилась. Тык-пык – вода не идет. Василия чуть не избили. Теперь, кажется, наладили.

– А я вот что думаю, мужики: не позвонить ли нам в Ставрово – в райцентр? Они скорее нас доедут. И машины у них лучше. Пусть им хоть и дальше, хоть и пятнадцать километров вместо наших пяти...

– Наверно, черкутинские поехали. От Черкутина до Некрасихи близко.

– Говорят вам: Пасынково горит!

– До Пасынкова им еще ближе...

– Из Черкутина и в район могут позвонить. От них легче дозвониться, чем от нас. От них прямая линия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.